

Герман Ильин

От Сибири до Прованса, пробеги и побеги



От Сибири до Прованса, пробеги и побеги

Le Sibérien demandera-t-il au ciel des oliviers, ou le Provençal du klukwa ?

Разве, на небесах, сибиряк запросит оливу, а провансалец - клюкву?

J.de Maistre

Предисловие

Всякое письменное творчество выявляет талант, знания, темперамент, эти общечеловеческие свойства; неизбежно, к содержанию примешивается доля конформизма и банальности. К счастью, всякое требовательное сочинение призывает и три поднебесных языка: язык сердца, язык души, язык духа - вне всякой приземлённой необходимости. Их бессознательный зов проистекает из наличия в каждом человеке трёх провиденциальных даров – Добра, Красоты, Истины.

Взывать к Добру – благородное, но обычно наивное желание; добро открывается лишь бессловесным сердцам, оно непереводаемо в слова и дела. Взывать к Красоте – безграничная, но горная дерзость, хотя, при отсутствии художественного таланта, большинство таких картин несут лишь серость. Взывать к Истине – недалёкая и призрачная притязательность; лишь она порождает словесную логоррею, заливающую сегодняшнюю литературу, будь это поэзия, философия или эссе.

Первые два зова щекочут меня с детства; к третьему я никогда не относился всерьёз. Однако именно в это упражнение я намерен ввязаться в этой вещице, нагловатой и уязвимой. Из древа моих забот я исключу вершины, цветения и тенистость и займусь корнями. Вопреки очевидности, это самая прозрачная часть дерева, что противостоит моей привязанности к смутности и даже к полутьме. Любопытство, вызов, исповедь, долг памяти – перечисляю эти привычные тональности, но не вижу в них ни одной

подходящей и безоговорочной пружины, которая могла бы привести меня в движение.

Моё перо всегда хотело предаваться взгляду творящему; оно избегало чисто созерцательных картин. И вот я широко раскрываю глаза, да ещё и опираясь на шаги и мускулы, одним словом – на безликий рассудок, опираясь стыдливо и смущённо. Как же душа, доселе чуть ни единственный автор моих словоизлияний, как она отзовётся на своё превращение в дух, урезая крылья и вживаясь, опираясь на столь отчётливые следы? Мой дух – домосед на горизонтах, а моя душа – кочевница в небосводах. Итак, слагаю крылья и оставляю свою звезду, чтобы ступить ногами на свою землю, оглядеть свои стены и проверить свои двери.

После тысяч страниц, вымученных на моём капризном и шатком французском, на темах исключительно пьянящих, но абстрактных, в тоне поэтико-философском и продвигаясь окольными путями, я теперь выставлю напоказ способности моей трезвости и прямоты. Потерпеть здесь неудачу означало бы, что я в очередной раз свалился в безответственный лиризм, – эта перспектива перестала меня страшить. Но это будет не повесть, а цепочка сцен, часто несвоевременных или вне всяких дат. Ещё раз: эта писанина не естественная потребность, а упражнение на культурном поприще. Как и все мои предыдущие опусы, мои заметки не востребованы никем, и никто их, конечно, не прочитает. Я посвящаю их единственному персонажу, которого могут касаться мои странствия, – себе самому, малышу. Так парадоксально - писать доселе во имя одних культурных ценностей, а теперь встать на службу естественному долгу. Столько несовместимости между животным порывом и выверенной

техникой. Култ начал, динамизм в замирании чужды развитию, энергии, конечным целям.

Исповедальный жанр навевает на меня скуку. Если бы я писал, следуя детальности Бл.Августина, Руссо или Толстого, я бы покраснелся. И не из-за мерзостей, которые надо выносить наружу, а из-за невыносимого совпадения между выраженным и реальным. Всё реальное – заурядно, плоско и унинительно. Поэтому я приправлю свои повествования некоторыми отступлениями. Это тоже будут побеги – та первооснова, которой следуют мои ноги, мысли, душевные состояния.

Итак, Россия больше не страна контрастов, какой она была до Октябрьской революции и в первые годы после падения царизма. В царской России были проевропейское правительство, цивилизованное и паразитическое дворянство, интеллигенция, воспламенённая идеалами свободы и готовая схватиться с гнилым анахроничным режимом, художники невероятного таланта, небывалого новаторства и неподражаемого благородства. Все вместе они составляли тонкий островок в мужичьем море, выплеснувшемся напрямик из монгольской «цивилизационной» грязи.

В ленинской России горстка сорвиголов, профессиональных революционеров, мирных мечтателей хотела подарить стране светлую перспективу, где пахарь и кухарка встали бы у государственного руля, где сильные будут солидарны со слабыми, где экономика будет поставлена на службу свободной и братской справедливости, где государство служило бы пламенной идее, а не холодному рынку. Страна была экономически отсталой, разорённой войной, раздавленной несправедливостью, и ей

суждено было стать маяком для всего человечества, ставшего великодушным, подобно Франции Бастилии и Парижской коммуны. Итог: страна расколота надвое двумя кланами равной жестокости; дикая борьба, в которой победили худшие. Дворянство, крестьянство, духовенство истреблены, страна отдана банде бездарных убийц. Последствия для цивилизации сравнимы с катастрофой, вызванной монгольским унижением семью веками ранее.

Я говорю об этой однородности, потому что в моём сибирском детстве, сразу после войны, я ещё замечал два типа русских – большинство никчёмных, отупевших от нищеты, и меньшинство выживших, достойных в своей памяти другого мира, менее жестокого и более гармоничного.

И именно в Экс-ан-Провансе, в 70-80-х годах, я нашёл подтверждение этому племенному разделению. Русские, встреченные мной там, имели лица того умирающего меньшинства, которое озаряло мои родные каторжные края среди невыразительной тьмы диких и грубых лиц. Страшная метаморфоза этих лиц – одно из самых потрясающих открытий, пережитых мной при открытии России былой.

Н., уцелевший в гражданскую войну, покинул Россию на подводной лодке. Флотилия из полутора сотен судов отплыла из Крыма, чтобы застрять на берегу у Бизерты. Н. написал пять огромных томов воспоминаний об этой трагедии; я, возможно, был единственным читателем этого титанического труда, поскольку после его смерти его французская жена выбросила в мусорку все бумаги этого незаурядного покойника, написанные на недоступном языке.

Дед г-на Н. Коваленко был командиром русской эскадры, стоявшей в Вильфранше в рамках Антанты. Н.К. был ревностным православным, крепко державшимся за тонкости исхождения Святого Духа, исключая Сына из этой божественной коллизии.

Три князя и две герцогини могли бы дополнить эту высокородную картину. Потомки Д. Шаховского и Н. Оболенского не имеют ничего княжеского; они заняты торговлей и кустарным рыболовством.

Перехожу к князю С. Всеволожскому. Его случай объясняет появление на этой странице этой вереницы навсегда исчезнувших русских. С.В. был женат на герцогине Лейхтенбергской (в России лишь одна семья носила этот экзотический титул, родоначальником которого был герцог Богарне). Её мать после революции приютила в Германии безумную польку, выдававшую себя за великую княжну Анастасию, чудесным образом спасшуюся от расстрела царской семьи на Урале. Я встречал эту знатную даму, когда ей было девяносто пять лет.

В прихожей своей скромной квартиры в Экс-ан-Провансе князь С.В. вывесил своё генеалогическое древо. Я никогда не видел такого пространного – тридцать семь колен! На самом верху значилось имя Рюрика, первого великого князя первого русского государства Новгородского в IX веке. Кстати, если бы я захотел представить своё древо, я тоже отправился бы от этого славного города Новгорода. Это желание воссоединения с этой потерпевшей крушение Россией, должно быть, во многом обязано этому доблестному С.В., ставшему православным священником. Другие любопытные факты его биографии: его дед был директором Императорских театров, а его прапрадед дрался на дуэли с

Тургеневым.

Увы, за моим прадедом Никифором простирается безымянная бездна. И этот Никифор (победоносец, по-гречески!) не был ни боярином, ни гусаром, ни нигилистом — он был мужиком, полубродягой, падким на спиртное, авантюры, лень и грабёж. Примерно в то же время, когда Флобер писал своё первое письмо Луизе Коле, а М. Бакунин присоединялся к Р. Вагнеру на баррикадах, мой прохиндей-предок, чтобы избежать принудительной отправки в ссылку в Сибирь, за свои противозаконные выходки, решил отправиться туда добровольно. Презрев соху, он стал старателем. Но я слишком забегаю вперёд. Остановлюсь здесь, чтобы продолжить этот рассказ позднее.

О моих российских перипетиях я пишу во Франции. Мне нужно перекинуть несколько мостиков между двумя странами, чтобы маловероятный, предполагаемый, воображаемый читатель видел оба конца, не теряя связи с более знакомым из них.

Страна моего детства

Это слово – История – обычно произносится серьёзно и напыщенно. Я же отношусь к ней с крайним пренебрежением: эта самая История не учит нас ничему толковому, поучительному, достойному подражания. Единственная её занимательная грань посвящена Мифам. Без мифов никакая историческая память не заслуживает ни нашего уважения, ни нашего любопытства. Жаль лишь, что нынешние историки роются в кадастровых архивах с куда большим рвением, нежели в хрониках поднебесья.

Таким образом, вторжение Истории на эти страницы продиктовано интересом банально практическим, без малейшего педантизма. Мне необходимо придать видимость событийной наследственности тем трём поколениям, которые мне ведомы и предшествовали моему рождению.

Стало быть, к Верцингеториксу и Хлодвигу мне придётся добавить Рюрика и Владимира Красное Солнышко, чтобы два лабиринта соприкоснулись и помогли обратить наш взгляд в одном и том же направлении.

Мой прадед Никифор – развесёлый пахарь, лишившийся своего надела, разбойник, переквалифицировавшийся в золотоискатели, – был бы чрезвычайно польщён, если бы узнал, сколько тщания я положу на то, чтобы воссоздать путь, ведущий к нему из глубины последовавших за ним веков.

Мифы, вроде героической Трои и романтического Золотого Руна, увы, не украшают никифоровых скитаний. Но я не отчаиваюсь, ни glavой, ни пером; и доберусь-таки до самой Античности.

Римская империя включала в себя множество нелатинских племён, в том числе эллинов и галлов. Оставим в стороне иберов, нумидийцев и прочих финикийцев. О них много рассуждали в наше время, проводя смелые параллели между, с одной стороны, историческими траекториями Карфагена, Греции и Рима, а с другой – путём России, обречённой на карфагенское падение перед лицом персизированной Германии и романизированных США.

В нелатинской Европе оставались три крупные группы: германцы, славяне и кочевники – тюркоманы и ираноиды. Исконные земли германцев и кочевников известны хорошо; со славянами же История уклончива или невнятна – их прародину помещают то в Иллирию, то в Дакию, то в Бранденбург.

Великое переселение народов (деликатно называемое германцами и славянами передвижением или миграцией) растерзало Империю. Сработал эффект домино: кочевники теснили славян, славяне – германцев, германцы переходили римские границы, чтобы наняться наёмниками или заняться грабежом. Эти волны опустошили всю Западную Европу и обрушились на африканский континент. Германцы заняли Галлию, Испанию, Британию, Магриб. Славяне дошли до Адриатики, Чёрного моря, Северо-Восточной Германии.

Резкий разлом случился при внуках Карла Великого. Германцы, всегда остававшиеся меньшинством на Западе (будущая Франция Карла Лысого) и в Центре (будущие Голландия, Эльзас, Бургундия, Савойя, Пьемонт), отказались от единого государства и обратились к этнически чистому государству – в Восточной Франкии, будущей Германии.

Славянский мир простирался от Шлезвиг-Гольштейна до Новгорода, Белого моря, Волги, Дона, устья Дуная, Дарданелл, Далмации, будущей Австрии. Австро-Венгрия, кстати, есть результат одновременных

вытеснений славян со стороны Востока (финно-угры с Урала - венгры) и Запада (баварцы, теснимые франками), которые окончательно разделили славян на южных (югославы и болгары) и северо-восточных (чехи, поляки, русские).

Франки всё меньше заботились о своих бывших западных колониях. Они ожесточённо нападали на своих же братьев по крови и языку – саксов, баварцев, лангобардов. Первые, в ответ, положили начало *Drang nach Osten* (натиску на Восток), вторые создали Австрию, третьи бежали до самой Сицилии, где слились с латинянами, маврами, византийцами и норманнами.

Но вернёмся к нашим западным франкам, ко временам Страсбургских клятв. Кстати, примерно в то же время, когда этот первый документ, написанный на французском языке, засвидетельствовал рождение нации, греческие монахи принесли славянам, в Моравии, их первую азбуку – кириллицу (сперва глаголицу), которая используется в России и поныне.

Первый контакт между французами и русскими произошёл в IX веке на Рейне. Люди Людовика Благочестивого перехватили там тех, кого приняли за викингских лазутчиков (а те воевали повсюду – от Британских островов до Новгорода и Византии). Это, действительно, были скандинавы, которые в ту пору опустошали западные побережья Европы (и создали первое известное русское государство!). Однако франки, разобравшись в подробностях, с удивлением поняли, что это были дипломаты, возвращавшиеся из... Константинополя и направлявшиеся к своему государю в... Новгород! Славная легенда, слегка потворствующая легковесной датировке, но до того славная, что я бросаю её на съедение вашему недоверию.

Норманнское происхождение Рюрика, первого известного князя Новгородского, сомнительно, но с этой версией срослось столько мифов,

что стоит вывести её на свет хотя бы ради той поэзии, столь редкой в тех краях, чтобы она утвердилась и утешила нас. Один из этих мифов гласит, что, смертельно скучая среди новгородских пьяниц, он кончил тем, что сбежал в Испанию (примерно так же как, впоследствии, Генрих III удрал от варшавян), где и повоевал со своими вестготскими приятелями против сарацин.

Русские летописи молчат о государственных структурах до Рюрика, поэтому его считают основателем Русского государства. Более того, никаких материальных следов существования этого города в IX веке не найдено, хотя норманны именовали Русь Гардарикой – страной городов, а Новгород – Хольмгардом, столицей! Это германское слово «столица» (немецкое *Hauptstadt*) и, особенно, его греческий эквивалент Метрополия сыграют странную легендарную роль в русской истории. Русские перевели греческое слово «метрополия» буквально, сделав из него кальку, что дало – «мать городов». Это странное выражение породило ныне столько ожесточённых споров между русскими и украинцами. Последние забывают об этимологическом смысле этого экзотического термина и истолковывают его поэтически – как обозначение города, стоящего у истоков всех прочих и властвующего над ними материнской властью. Они не желают признавать простой и очевидный факт, что наряду со второй, хронологически, русской столицей – Киевом, такие города, как Новгород, Владимир, Москва, Санкт-Петербург, в своё время тоже были матерями городов русских.

После бегства Рюрика в Испанию его норманнские соратники (князь Игорь, затем князь Олег и княгиня Ольга – имена скандинавского происхождения) занялись, из Новгорода, грабежом окрестных земель, основывая там и сям новые княжества. Одно из них, на юге, называлось киевским, другое, на Востоке, - владимирским. И то и другое быстро пошли в гору и в итоге превзошли Новгород и в привлекательности, и в

могуществе и в цивилизованности. Первое - по той причине, что христианские византийцы были ближе к славянам, чем языческие и дикие викинги. Второе - из-за соображений безопасности, ибо оказывалось вне досягаемости воинственных кочевников Юга.

Обрусевшие новгородские северяне поглядывали в сторону Балтии, будущей Ганзы, или Византии (их драккары из Балтийского моря могли легко добраться от Новгорода до Днепра, впадающего в Чёрное море). Две сестры – соборы Святой Софии – были возведены одновременно в Новгороде и Киеве в XI веке, после христианизации, случившейся веком ранее. Красивейший во всей Европе романский собор был возведён во Владимире в XII-м веке. Но с X-го до конца XII-го века русской столицей был Киев.

Новгород возьмёт реванш уже в XII-м веке, когда Киев падёт в руины из-за набегов кочевников Дикой Степи и братоубийственных распрей с другими русскими княжествами. Но вплоть до XIV-го века единство русской цивилизации, включая язык (в Москве и Киеве говорили на одном и том же языке, тогда как в Новгороде был свой диалект – с той же разницей что и между *langue d'oïl* и *langue d'oc*), это единство оставалось незыблемым.

Первый разлом между двумя Русями – Южной (вокруг Днепра) и Северной (от западного Новгорода до восточной Москвы) произошёл со вторжением на Южную Русь, в XII-м веке, грубых язычников-литовцев (лишь в конце XIV-го века обратившихся в католичество). Тем не менее, именно в Киеве Русь, более трёх веков назад, приняла православное христианство. Язычество, а затем и католичество, в ходе двухвекового господства, разорвали некоторые связи с православным наследием. Однако это было, возможно, меньшим злом, если сравнить его с жуткой монголизацией, обрушившейся на Русь Восточную.

Папа Иннокентий IV-й вёл переписку с двумя великими русскими князьями – Даниилом Южной Руси (будущей Украины) и Александром (будущим Невским из фильма Эйзенштейна, победителем шведов и тевтонских рыцарей) Северо-Восточной Руси – Новгорода, Владимира и Москвы. Добрый Папа жаловал им титул Rex (то-бишь, по традиции названия неевропейских властителей, - "правитель"). Наши украинские друзья перевели этот средневековый термин как «Король», в современном смысле, и анахронически провозгласили создание мифического средневекового Королевства Руси.

Александр Невский, Новгородский, – это русский Верцингеторикс с двенадцативековым сдвигом; победив меченосцев на Чудском озере, он покорился монгольским ордам, отправился к Великому хану, оскорблённый, униженный, но избежавший удавки, которая пресекла дни великого Галла. Если малость сузить хронологию, можно сказать, что аналогом Хлодвига является Владимир, великий русский князь, крестивший Русь в X-м веке, пятью веками позже Хлодвига.

В отличие от Киева и Владимира, Новгород был пощаждён монгольскими поджигателями и головорезами. Он был членом Ганзейского союза и пережил республиканский период (с XII-го по XV-й век!), во время которого там поддерживался некоторый вкус к гражданским свободам. Конечная катастрофа наступила при Иване Грозном – восточном кровожадном деспоте, который разорил город и истребил его мятежное население, утопив в реке Волхов тысячи непокорных.

К политическому упадку Новгорода (вернее, к его уничтожению) добавилось экономическое бедствие XIX-го века: для прокладки первой железной дороги между Санкт-Петербургом и Москвой чересчур прусский царь Николай I-й потребовал идеально прямую линию, что исключило Новгород, находившийся в нескольких десятках километров от этой

проклятой линии. Мой предок Никифор родился, таким образом, при этом государе, ограниченном в политике и бездарном в экономике.

Наконец, последний трагический эпизод разыгрался во время последней мировой войны. Город был полностью стёрт с лица земли. Франкистская División Azul отличилась в этом побоище бок о бок с вермахтом. Несколько церквей XI–XII веков были восстановлены после войны.

Итак, Никифор-новгородец, родившийся в середине XIX-го века, имел нелады с полицией, которая шла по его следам из-за ряда преступлений, граничивших с разбоем и даже убийством. Тут представился счастливый случай: правительство, озабоченное заселением пустых пространств Сибири, организовало бесплатную депортацию добровольцев, имевших кое-какие грешки перед государством, готовым закрыть глаза на их преступное прошлое в обмен на заселение сибирских земель лицом к лицу с далёкими китайцами, которые поглядывали в ту же сторону, что и монголы шестью веками ранее.

И вот мой Никифор высаживается в районе Ново-Николаевска (этот посёлок, ставший затем столицей Сибири, будет пересечён Транссибирской магистралью двадцать лет спустя). Чтобы замести следы, он углубился с небольшой группой других искателей счастья в непроходимую тайгу вокруг большой реки Томь.

Правописание этого последнего названия навевает на меня недоумение по поводу французской фонетики. Ведь там есть это противопоставление: gêne – geigne, sonne – cogne, manne – magne. «Твёрдые» гласные противопоставляются «смягчённым». Но почему это явление не распространяется на другие согласные? Непостижимо! В русском языке большинство твёрдых согласных имеют «смягчённый» аналог – отсюда и Томь. А вот и другой пример, я беру слоги lia, lié, lio и не

могу понять, почему во французском невозможно передать слог с гласной «и» вместо «а», «е» или «о», а итальянцы пишут для этого – gli! Это столь же загадочно, как потребность испанцев вставлять «е» перед начальными st или sr, или трудность немца выговаривать в начале слов согласную «с», а не «з», когда за ней следует гласная.

Но вернёмся к нашему первопроходцу Никифору в стране медведей и рысей. Не рыба, столь ценимая гурманами, не медведь, ценимый за шкуру, и даже не кедровая древесина более всего поразили моего прадеда на берегах этой большой реки, уже достигающей нескольких сотен метров в ширину за полтысячи километров до впадения в царя (или, скорее, царицу) сибирских рек – Обь.

То, что засверкало в расчётливых глазах Никифора, было Золото! Золотая лихорадка длилась полвека, пока не была пресечена ударами советской тайной полиции, которую эти места восхитили как идеальные для устройства островков ГУЛАГа – ближайшая дорога и Транссиб находились более чем в ста километрах. Именно здесь сиял самый убийственный (по Солженицыну) из всех сибирских лагерей – Камышлаг, тростниковый лагерь. Спустя столетие я ещё знал охотников, выходивших из тайги с несколькими самородками, которые они перепродавали мафии золота или продажным ментам.

При новом императоре Александре II-м родились эти двое сыновей: мой двоюродный дед Прокопий и, наконец, мой дед Платон. Никифору выпала последняя возможность исповедать свои бесчисленные грехи перед Всевышним в конце XIX-го века; как и всякий корсар или киллер, он, конечно, не умер в своей постели. В семье рассказывали, что расправился с Никифором - медведь! Я же склоняюсь к зловещей истории о соперничестве золотоискателей, которую рассказывали злые языки; великое одиночество этих бескрайних лесов так располагает к корыстному

душегубству при полнейшей и тайной безнаказанности.

Похоже, единственным пожеланием, произнесённым Никифором перед кончиной, была его воля, чтобы его два сына взяли в жёны двух Евдокий: это имя носила его героическая супруга, следовавшая за ним из славного Новгорода в грозные сибирские леса.

Платон унаследовал умиротворяющие черты первого Никифора – добродушный, ленивый, смиренный. Прокопий был куда более предприимчив; в начале XX-го века он не удовольствовался ремеслом отца-золотоискателя, а присовокупил к нему торговлю медвежьими шкурами, а затем и... велосипедами. В ту пору это было эквивалентом наших смартфонов или планшетов – вершина прогресса! И как раз перед Великой войной Прокопий открыл первый кинотеатр в моём родном посёлке. Но не надо мне забегать слишком далеко вперёд.

Женщины заглядываются на победителей. Прокопий женился на своей сияющей Евдокии, получившей некоторое образование, с живым умом, чуткой к грозящим опасностям и к с неба свалившимся оказиям. Платону тоже досталась другая Евдокия – угрюмая, из уральских племён, где смешались русские, удмурты, башкиры, татары. Она тараторила на этих диких наречиях, что я мог наблюдать семьдесят лет спустя в том гулаговском вавилоне, в которое превратилось небогатое наше село.

Всё удавалось Прокопию; нищета преследовала Платона. Великая война перевернула это неравенство. Прокопий, доблестный и добросовестный патриот, облачился в солдатскую шинель и отправился облегчать участь измученных на Сомме «пуалю», досаждая тевтонам в Восточной Пруссии, неподалёку от новгородской прародины своих предков. Платон же, лодырь, словно Илья Муромец из русских былин, нежился на печи и, без малейших угрызений совести, сыскал липовые медицинские предлоги, чтобы освободиться от воинской повинности.

Грянула первая катастрофа – Февральская революция 1917-го года. Прокопий, почуяв неладное, более не желал подчиняться офицерам – слишком опасно в глазах солдатских комитетов, которые уже начинали резать золотопогонников. Вот он и в транссибирском поезде, проделывая примерно тот же маршрут, что и несчастный Николай II-й, сосланный Временным правительством (лондонский Двор отказался принять своего августейшего родича, хотя Георг V-й и Николай II-й были близкими родственниками и к тому же поразительными двойниками).

Оптимистичный и беспечный Платон воспользовался войной, чтобы сделать своей Евдокии двоих детей – мою мать Полину и моего дядю Михаила. Прокопий хотел его переплюнуть – его три сына, Алексей, Александр и Николай, появились на свет в разгар Гражданской войны, которая в Сибири длилась почти пять лет. (Судя по именам в семье, позже проявится латинская волна – Виктор, Валерий – которая придёт на смену прогреческому течению.)

Четверть века спустя я увижу следы этой войны на печи моей родной избы. И поскольку Прокопий, разумеется, был на стороне белых, а Платону было предопределено принять сторону красных, я слышал два непримиримых, но удивительно схожих колокольных звона. Три-четыре раза наше село меняло хозяев, но ритуальный аспект передачи власти не имел сколько-нибудь заметных отклонений от общих нравов: победители волокли связанных побеждённых к реке, протекавшей в трёхстах метрах от нашей избы. Моя бабушка Евдокия и моя двоюродная бабушка Евдокия часто ходили к этой реке стирать бельё; и они наблюдали там одни и те же сцены: счастливые торжествующие поборники правого дела выхватывали сабли и отрубали головы незадачливым уклонистам. Тридцать лет спустя я стал свидетелем появления на крутых берегах Ини человеческих костей. Весенние ледоходы и наводнения подмывали эти берега и предоставляли

виртуальным этнографическим музеям материал для размышлений и памяти. Печь нашей избы, на крыше, всё ещё хранила следы пуль – красных и белых, без разбора.

Рвение Платона к красным не было вознаграждено; его наняли ночным сторожем на угольную шахту, что его вполне устраивало, поскольку эта должность оставляла широкие возможности для сончасы и удачных возлияний в преспокойном одиночестве.

Примазанец Прокопий очень рано понял, куда дует ветер. Быстренько он продал свой дом, коров, велосипеды, закрыл кинотеатр и объявил себя пролетарием. Братец Платон предложил ему половину своей избы и поручился за прокопиеву лояльность перед властью прогрессивных рабочих и крестьян. Вскоре в избе площадью в сорок квадратных метров, разделённой надвое, кишело шестеро детей (моя тётя Ольга пополнила платоновское племя) и четверо взрослых.

Непосредственные последствия революции, помимо сокращения вдвое числа сибиряков (как легко было отправлять к праотцам подобных тебе, когда твой восторженный вожак клеймил их как вредителей!), – эти последствия, стало быть, были весьма радикальными и новаторскими: открылся голод, доселе в Сибири неведомый; лохмотья и грубые допотопные башмаки стали общим уделом; посуда, жильё, все домашние орудия вернулись в невинное состояние XII-го века; нравы, и без того не слишком изысканные, отсылали к монгольскому наследию; да, я хорошо вижу, что цивилизации смертны, сказал бы ностальгически Валери, если бы ему показали быт сибирских шахтёров при Советах.

Первые пятнадцать лет советской власти, когда в европейской части голод унёс миллионы жертв, были в Сибири более сносны. Всё белое было быстро истреблено – вот и половина ртов на прокорм убавилась. У обоих братьев были огороды, где росли картошка, помидоры, огурцы, морковь,

горох, табак. Прокопий доходил до роскоши и сажал бузину, смородину, малину. Евдокии заведовали соленьями, вареньями, окороками.

Наступили страшные тридцатые годы. Из сорока домов в нашем переулке тридцать заплатили дань сталинскому Молоху. Расстрелянные, утопленные, сосланные на десяток параллелей севернее, чтобы там сгинуть от комаров, холода или дурного настроения надзирателей.

Посмотрите на данные «Мемориала» – в этой «иностранной агентуре», как называют нынче это общество памяти жертв сталинских палачей, – девять из десяти жертв – деревенщина, крестьяне или рабочие, а вовсе не злокозненные интеллигенты, которые, мол, коварно стремились восстановить власть капиталистов и помещиков в сговоре с Лондоном, Токио или Нью-Йорком.

Эта чистка привела к падению уровня жизни, десятикратному дефициту во всём, голоду, всеобщему страху, распространению доноительства, расцвету профессии стукача и лагерного надзирателя. Гибкий Прокопий прятал портреты Троцкого и Радека (поверх портрета Николая II, а затем Ленина), помещая сверху портрет Сталина. Однажды, в шестидесятые, я найду их у него спрятанными под портретом Хрущёва, который вскоре, в свою очередь, будет покрыт последним – Брежневым.

Прокопий не знал, что в русской истории никогда не бывает возврата назад. Каждая новая страница там полностью стирает все предыдущие, чтобы новый властитель в полной мере насладился всеми исключительными добродетелями отца нации.

В двадцать лет Мама получила образование фармацевта и сразу же вышла замуж за П.И., сибиряка коренного, смирного, без соглашательства с врагами народа, но и без симпатий к лагерной страже. Сразу же родились двое детей: Людмила, которая очень быстро умерла от холода, и Виктор, который, питаясь палёной водкой, но оттого становясь всё крепче, умер от

голода гораздо позже. Третий ребёнок, Валерий, обречённый на самоубийство, родился за три недели до немецкого вторжения.

Когда началась Отечественная война, у Прокопия было трое сыновей призывного возраста, им было от восемнадцати до двадцати двух лет, а у Платона – единственный сын Михаил. Все ушли на фронт в июле 1941-го года. Михаил избежал холокоста; трое детей Прокопия и муж Мама, П.И., были убиты ещё до осени. В то же самое время господин Г.Г. Гадамер читал перед растроганными и благодарными французскими пленными свои лекции о Народе и Истории... Сартр и Камю корректировали своиopusы о Бытии и Бунте перед отправкой в издательства под надзором нацистов...

Трое сыновей Прокопия были ликвидированы эсэсовцами в будущем Lebensraum сверхчеловеков – в лесах Белоруссии, вдали от университетских аудиторий и зоны действия Женевской конвенции о военнопленных. Прокопий приколот их посмертные медали к портрету Сталина; его Евдокия не выдержала горя и лишилась ума; она прозябнет ещё несколько лет, заботливо поддерживаемая верным Прокопием. Мама, имея два рта на прокорм, ушла из аптеки, где её зарплата обрекала детей на медленную смерть, и пошла работать на машиностроительный завод простой рабочей, выковыывая штыки и прочие смертоносные радости. Двенадцать-четырнадцать часов в день. Без выходных и воскресений. Поднимая металлические детали весом в десятки килограммов. Без отопления; станки стояли прямо на утрамбованной земле. Смерть мужа приносила семье буханку хлеба в неделю – и это было отнюдь не лишним.

В шестидесятые годы я нашёл мамину фабрику в точности в том же состоянии. Единственным прогрессом было наличие трофеев из Магдебурга – несколько токарных и фрезерных станков с готическими надписями. Мама была очень взволнована и счастлива при мысли, что и я когда-нибудь окажусь лицом к лицу с этими стальными монстрами. Она не

сомневалась, что я буду к этому достаточно одарён.

В то же время Сартр писал своё «Бытие и ничто» и жаловался, что поставки «Beaujolais Nouveau» задерживаются дольше положенного. Кокто писал для Эдит Пиаф «Безразличного красавца», имевшего огромный успех у офицеров Вермахта. Пикассо написал «Бычью голову» и выгодно продал её любителям искусства оккупационных войск. Клодель сочинял пламенную Оду Петену и клеймил подлую русскую сволочь, неспособную оценить вклад европейской цивилизации.

Русские быстро поняли смысл борьбы: немец обращался с ним как с недочеловеком; русский должен был либо умереть, либо быть депортированным за Урал, либо стать рабом расы господ; всякая культура ему воспрещалась, четыре года начальной школы – и не более того; Ленинград и Москва должны быть скрыты и затоплены; его поселят в землянки, откуда его раз в год будут выгонять, грузить в грузовики и везти на рассвете по сверкающим улицам новых арийских городов, с мраморными дворцами, фонтанами, статуями; раздавленный таким великолепом, он должен был сокрушаться о своей неполноценности и добровольно покоряться властелинам вселенной. Эту монументальную картину начертала не сталинская пропаганда, а его противник Геббельс, весьма точно передавая намерения своего Хозяина из Берхтесгадена. Если вы читали Дневник этого Доктора, вам не нужно рыться в архивах, чтобы понять смысл борьбы, которую Третий Рейх вёл на два фронта. Поборник большевизма узнает вдобавок, что Доктор написал пьесу «Борьба рабочего класса» с подзаголовком «Социалистическая драма». Восхищаясь антибуржуазными вождями, он также написал хвалебное эссе «Ленин и Гитлер». Он приписывал себе изобретение, вернее плагиат, нацистского приветствия: он нашёл его в жестикуляции... Ленина!

У всякого интеллектуала должны быть две настольные книги: Дневник

Гейбельса и Записные книжки П. Валери. Первая – чтобы понять, что слова «чистый», «великий», «благородный», «высокий» должны быть заточены в нашей душе, без права выхода на улицу; вторая – чтобы прочувствовать, что такое язык и интеллект в нашей жажде музыки и творчества. Прочитав первую, ты будешь голосовать с чистой совестью за ничтожного лавочника и будешь бежать от любого трибуна – будь он справа или слева. Прочитав вторую, ты сделаешь ненужными Аристотеля и Канта и станешь искать музыку в собственных душевных состояниях (Валери сказал бы – ментальных состояниях). Мой друг Р. Дебре пришёл бы в ужас от первого совета, но подписался бы под вторым. Братья, как и влюблённые, не всегда находятся в одних и тех же местах, но они смотрят в одном направлении, в поисках своих звёзд. Вертикаль рождает братство; горизонталь производит стадо.

Война на Востоке не была поэтому ни в коей мере идеологической, а расовой. Если на Западе демократии противостояли тоталитаризму, то на Востоке германец пришёл сводить тысячелетние счёты со славянским недочеловеком. Нацисты расстреливали политкомиссаров, объявленных советской элитой, точно так же, как при иных обстоятельствах они расстреливали бы попов, писателей или князей, если бы те считались лучшими защитниками славянства.

Мужик, замученный этим азиатским деспотом Сталиным, доведённый до материальной и духовной нищеты вследствие истребления живых сил нации, до состояния раба тоталитарного государства, этот мужик обрёл своё достоинство и мужество, чтобы разгромить самую современную, самую оснащённую и самую обученную военную машину в истории. За свою тысячелетнюю историю он знал только эти четыре года свободы. Но более 95% молодых русских в возрасте от 18 до 25 лет погибли за четыре года войны, и они унесли с собой тайну своей жертвы и своей боевитости.

В своём детстве я встречал некоторых из них; часто искалеченных, всегда безропотных, постепенно забывающих смысл собственной борьбы, отуплённых лавинами новой большевистской пропаганды, всё фальсифицирующей, всё принижающей, всё обезображивающей. Они хорошо понимали свои собственные плакаты, водружаемые на немецкой границе, – «Вот она, Германия, проклятая»; они продолжали не понимать смысла немецких плакатов, которые нацисты вывешивали на русской границе, – «Hier beginnt der Arsch der Welt» (Здесь начинается задница мира).

Приближается конец войны; Мама, такая юная и красивая, всё ходит на завод; меня ещё нет на свете.

Сибирь моими глазами

Я появился на свет сразу после войны, от *неизвестного* отца. Сиротство мне на руку; в любом месте меня тянет к одиночеству; я никогда не знал ни семейной, ни интеллектуальной, ни профессиональной опоры, и никогда не ощущал этого как недостаток. Ни даже как потребность.

В гётевском «Фаусте» Забота остаётся последним вызовом, когда Недостаток уже устранён. И Хайдеггер подхватывает эту тему, делая Заботу о бытии основанием и оправданием существования.

Уживаясь с Недостатком и превращая Заботу о бытии в Жажду становления, то есть заменяя горизонталь действия на вертикаль мечты, я создал себе вселенную благодати, противоположную миру тяготения.

У Мамаы, её последнему ребёнку было очень мало шансов появиться на свет. В первые послевоенные годы нищета достигла предела. Скелетоподобные призраки, уцелевшие демобилизованные солдаты, тени безногих или безруких калек, переквалифицировавшихся в ночных головорезов или дневных пьяниц, делали повседневную жизнь апокалиптической, дантовской. Никакой свет не смягчал густую черноту, в которой протекало подобие жизни, где приходилось каждый день биться за кусок хлеба, где гнус, вонь, грубость жестов и слов леденили самых отважных оптимистов.

Вся семья, все коллеги и соседи Мамаы советовали ей сделать аборт. Было лишь одно исключение, один голос в этом безжалостном, но справедливом хоре – Платон. Он сказал своей дочери, чтобы она оставила этого ребёнка, который, в отличие от детей, рождённых в более спокойные и благополучные времена, напоминал бы ей об ужасе адской жизни, о

страдании, и утешал бы её в жизни более милосердной. Он был оптимистом, мой добрый Платон. Или, скорее, он верил, что каждый человек должен быть способен создать свой собственный нереальный кокон чувствительности, в котором он был бы отрезан от неизбежной мерзости реальной жизни, то есть жизни грязной и жестокой, – единственной, которую он знал. Он был мечтателем, мой старый Платон, с его белой бородой и широкой наивной улыбкой.

В XXI-м веке я вновь увидел мою родную избу; она не изменилась. Те же угрюмые, недоверчивые, удручённые персонажи жались к стенам или тонули в грязи или в водке. Я нашёл крюк на потолке, где висела моя люлька; он тронул меня сильнее, чем тополя, посаженные Платоном, или декоративные дощечки вдоль крыши, которые я сам вбил в шесть лет под надзором дедушки Платона. Спуск к Ине не показывал никаких признаков смены столетия – та же грязь, та же чернота вековых брёвен, тот же хаос разрозненных досок, кричащих о ветхости и гнили вокруг стен, бросающих вызов учёной вертикали и мещанским украшениям. Остановившееся время, где-то век, а то два, три, а то и семь назад. Дыхание монгольского вихря на улицах и в головах было ощутимо.

В реке купались дети моего тогдашнего возраста. Я слышал те же разговоры, которые вёл сам более полувека назад – очень-очень далёкие от того, что слышно в Трувиле или Сен-Тропе, нечто животное, неподвижное, застывшее, не ведающее пульса времени. Мобильный телефон был единственным предметом, свидетельствовавшим о смене века. Остановившаяся жизнь – ощущение, которое трудно создать искусственно; я следил за ней, затаив дыхание, с недоверчивой головой, глазами, переносившими меня в самое сердце моего детства.

В начале XX-го века моя изба была разделена на две симметричные

части, но с разным содержанием. У Прокопия царили порядок и чистота; у Платона - Азия (та, что идёт от Чингисхана, а не от Конфуция или Будды) навязывала свой хаос и грязь. Деятельный Прокопий жил со своей Евдокией и младшим сыном Петром (тот стал офицером, служил на полигоне, где испытывали термоядерные бомбы; облысел в 25 лет и быстро умер от последствий облучения).

Беззаботный Платон полагался на свою угрюмую Евдокию, чтобы поддерживать жизнь в племени, которое уже до моего рождения насчитывало двух сестёр, Полину и Елизавету (Ольга и Любовь уже покинули отчий кров), и моих двух единокровных братьев, Виктора и Валерия, восьми и четырёх лет.

Платон, чтобы не казаться слишком безответственным из-за своей страшной поддержки Мама, сделал над собой усилие, смастерив деревянную люльку, которую сам подвесил к потолку нашей комнаты. В избе было три помещения: сенцы в шесть квадратных метров, куда входили через крыльцо в три ступеньки, кухня с русской печью, сундуком и кроватью Евдокии и Платона, и комната, которую делили сияющая Елизавета, красивая блондинка с голубыми глазами, как, впрочем, и сама Мама, и наша семья, теперь уже с тремя дикарями.

Пятнадцать лет спустя я всё ещё видел свою люльку, которую Платон бережно хранил на печи в надежде, что наконец и Елизавета размножит потомство семьи Суняйкиных (да, это была фамилия Прокопия и Платона, и я должен был бы её носить. Однако чиновники наградили меня именем и отчеством отца Виктора и Валерия; вставив в эти инициалы инициал моего имени, я получил, латинскими буквами, P.H.I., что послужило мне псевдонимом, когда я начал писать по-французски).

Эта фамилия имеет странное китайское звучание, как, впрочем, и у

моего доброго одноклассника А. Рузмайкина, который ещё недавно готовил космические миссии НАСА в Калифорнии, в лаборатории J.P.L. Саша пережил жизнь ещё более ужасную, чем моя; его отец-алкоголик терроризировал десятерых детей; с топором в руке, или, на худой конец, с дубиной или пустой бутылкой, он свирепствовал, накапливая обиды и шрамы. Их барак был вдесятеро гнуснее моего, в нескольких метрах от уродливого террикона, куда ссыпали уголь с соседней шахты. Снег там никогда не был белым; напитки – никогда не ниже 40%; разборки – никогда по-хорошему. Мы от души посмеялись с Сашей в его великолепной вилле под Лос-Анджелесом. Его супруга, сестра великого Р. Фейнмана, находила нас удивительно лишёнными критического подхода по отношению к мерзостям однопартийного режима. Наши хихиканья выдавали некую снисходительность к тоталитарному порядку.

Именно у крыльца моей родной избы умерла от холода моя единокровная сестра Людмила десятью годами ранее. Дверь сеней была оставлена открытой в разгар зимы. Три лишних метра стоили ей жизни.

Сенцы служили для защиты избы от наружного холода; там стояла бочка для воды, которую нужно было носить за километр, от открытого колодца. Взрослые носили коромысло; ребятня тащила ведро. В пять лет я выполнял свою первую миссию водоноса. Однако, начиная с -40° , меня освобождали от водных повинностей. Платон очень гордился своим подопечным-водоносом, а также своими санями, сделанными из берёзового дерева.

На кухне в восемь квадратных метров царила печь, а над ней – некое подобие лежанки с медвежьей шкурой, где мог улечься в тепле малыш, то есть я. В течение шести лет это было моё убежище, мой тайный сад, мой природный рай. Прямо внизу, где хранили уголь, по ночам компанию мне

составляли сверчки.

В комнате в десять квадратных метров стояли две кровати: одна для Елизаветы, другая для Мама, которая делила её со своими двумя сыновьями. Моя люлька качалась между ними; днём, пока Мама надрывалась на заводе, делая лопаты, топоры или кирки, а бабушка возилась с банками огурцов и помидоров, Платон занимался моими бутылочками, пелёнками и моим сном. Я думаю, что из всего минерального, растительного и животного мира я был единственным, кто наряду с водкой внушал ему столько нежности и безграничной преданности.

В мои первые три года единственным событием, достойным упоминания, было моё тайное крещение. Государство было решительно атеистическим и безжалостно боролось со всякой слабостью к устаревшим суевериям, так что Мама не могла и думать вести меня в церковь; она рисковала лишиться своего драгоценного места неквалифицированной рабочей. Это бабушка Евдокия тайком разработала опасный план, без ведома моей трусливой семьи. Она воспользовалась присутствием в посёлке двух гостей из Кемерово и Новосибирска (моя крёстная Гертруда и мой дядя по браку Василий, крёстный), чтобы привести план в исполнение. Однажды она взяла меня подмышку, понесла, прижимаясь к стенам, в местную церковь, где уже ждали растревоженные и взволнованные крёстные. Поп, перепуганный до смерти такой опасностью (крещения, как и венчания в церкви, были чрезвычайно редки; бдительный научный атеизм опирался на полицию, служившую Партии), поп следовал церемонии кое-как, избавив меня от полного погружения в святую воду, но заставив проглотить большую ложку того, что он называл вином Кагор! Обнаружив настоящий кагор четверть века спустя, могу

засвидетельствовать, что божий человек лгал – это была самогонка, окрашенная местными лесными ягодами.

Я бы и не вспомнил об этом эпизоде, если бы не единственное его «практическое» последствие, четырьмя годами позже: бабушка Евдокия достала мой маленький крестик в день моего поступления в «большую» школу и повесила мне на шею. Это не ускользнуло от бдительности моих одноклассников. Шайка атеистов в коротких штанишках организовалась у меня за спиной и на перемене набросилась на меня. Я больше не увижу моего бедного оловянного крестика. Это происшествие сделало мне более симпатичными попов, а чтение Евангелия – более умирительным (именно на Воробьёвых горах в Москве я предавался этим расширениям ума, если и не возвышениям души).

Мне шёл четвёртый год. Здесь начинают мерцать мои первые воспоминания. Восхищение георгинами, ромашками и одуванчиками, заполонившими маленький дворик; запрет приближаться к свинье, которую Евдокия держала в глубине сада; дружба с собакой Прокопия, Сигналом, обернувшаяся ужасом, когда он меня укусил; открытие нашего переуллка, носившего подозрительное название – Театральный переулок. Я отчётливо помню неловкость, которую испытывал, выговаривая это непонятное название перед моими первыми товарищами. Другие называли улицы с такими престижными названиями как: Десятая годовщина Революции, Вентиляционная, Парижской Коммуны, Терриконная. Гораздо позже Прокопий объяснил мне происхождение этого нелепого названия – Театральная. Это происхождение исходило от самого Прокопия! Дело было тридцать лет назад, в царской России; Прокопий открыл в нашем посёлке первый кинозал; тогда такие залы назывались «кино-театрами» – отсюда это экзотическое название!

Расчудесный Театральный переулок была грязной, извилистой клоакой из чёрной и глинистой земли; неудержимые весенние потоки воды прорывали в ней глубокие канавы до самой реки Ини; ни асфальт, ни тротуары, ни клумбы не портили этот пейзаж, сохранившийся в том виде, в каком он был со времён монголов, семь веков назад. За Инёй начиналась грозная тайга, точнее, согра – подлесок, слегка приручённый пролог к неистовой симфонии дикой тайги.

В Северной Европе можно без особого труда представить сибирское лето и зиму; достаточно добавить немного лиризма в летние картины и немного драматизма в зимние суровости. Но никакая интуиция не может передать эпическую картину сибирской весны. Всё начинается с оглушительного грохота, чаще всего среди ночи. Ледоход! Лёд, покрывающий поверхность Ини до метра толщиной, лопается, взрывается под звук ужасных пушечных залпов. Вся окрестная ребятня сбегается. Начинается увлекательное состязание: мальчишки прыгают с одной льдины на другую под умилёнными взглядами родителей. Это крещение мужеством и ловкостью. Я сдал свой экзамен в шесть лет, упав в ледяную воду. Пришлось бежать, дрожа, несколько сотен метров до избы, где добрая бабушка Евдокия растирала моё синюшное тело и угощала обжигающим чаем с конфетами. Тот, кто видел на экране бедных тевтонских рыцарей, барахтающихся среди взломанного льда Чудского озера в «Александре Невском» Эйзенштейна, может получить приблизительное представление о дискомфорте, который испытывает несчастный, вооружённый или нет, брошенный в этот ледяной ужас.

Праздник был редок в те времена лишений и голода. Полгода Иня превращалась в гигантский каток; к пяти годам мне подарили пару коньков, которые я привязывал к своим тяжёлым валенкам. Если лёд был слишком

занесён снегом, я брал лыжи; это было медленнее, менее захватывающе, требовало меньше ловкости и больше подвергало опасности обморожения пальцев ног.

В ширину Иня летом был всего в тридцать метров. После ледохода она затапливает на километры окрестный лес. Одно из моих самых прекрасных первых весенних воспоминаний – это прогулка на лодке, которую мне подарил великий Платон! Прогулка на лодке по возрождающемуся дикому лесу – это сказочное изумление, в прямом смысле слова! Цель отчасти была действительно эстетической – нужно было собирать сибирские первоцветы и подснежники. Но была и гастрономическая составляющая. Некоторые незатопленные островки оставались сухими; зайцы спасались у подножия деревьев; Платон хватал их за уши и бросал в лодку (я узнал позже, что мой Платон подражал дедушке Мазаю Некрасова). На моих стыдливых глазах я до сих пор вижу этих дрожащих зверьков, ещё частично сохранивших белую зимнюю шерсть, прежде чем она станет серо-бурой летом. Подснежники – для мечтательной Мама, зайцы – для кухарки Евдокии.

Я уже давно чувствую себя предателем Природы. Культура завладела мной очень рано, слишком рано. И в четыре года это предательство началось.

Каждый вечер, когда мои братья с многочисленными друзьями предавались играм, требовавшим мускулов и храбрости, Мама, вернувшись с завода совершенно обессиленная, сажала меня и читала мне сказки, которые требовали лишь моих девственных ушей и доверчивых глаз. Это было решающее, капитальное, основополагающее событие всей моей жизни. Первые имена, которые я увидел напечатанными, были Х.К. Андерсен, Ш. Перро, братья Гримм, А. Пушкин. В это время бедствий

Мальчик-с-пальчик, Кот в сапогах, Белоснежка помогли мне создать грандиозную вселенную, из которой я никогда не выходил. Как сформулировать это благотворное, успокаивающее действие, примиряющее меня со всеми ужасами мира? – чёткая уверенность, что настоящая жизнь – это нечто иное! Отныне я буду прозябать в реальном мире, мире взрослых, производителей, деятелей, а жить я буду в мире своих грёз, где чудесное несуществование образов или душевных состояний гарантирует мне не-встречу с ними, сохраняя им таким образом ту чистоту, которую даже мои прикосновения через эмоцию или, позже, через творчество не нарушат. Жажда, которую нужно поддерживать, а не утолять. Слеза и чернила, а не жест и кровь.

Мама, до последнего вздоха я буду носить в себе благодарность твоим рукам, почерневшим от того железа, которую ты таскала, чтобы трое неблагодарных сыновей не умерли с голоду. Но прежде всего я буду нести огромный стыд перед твоими глазами и твоими губами, которые дали мне самую драгоценную пищу – этот вкус иных мест, – и который я так и не смог тебе объяснить, чтобы ты радовалась этому.

Этот решающий разрыв между вымышленным и реальным был подкреплён второй причиной, совершенно независимой от первой. В России не нужно было ни глубокой проницательности, ни высокого созерцания, чтобы заметить, что слово может развиваться без какой-либо прямой связи с реальностью. Официальное слово льстило доярке, молодому и сильному, заботливо относящемуся к старым и слабым. Оно возвещало о нашем превосходстве над миром старых западных банкиров в области ракет, самолётов и производства чугуна. Прекрасные советские песни ещё больше углубляли эту пропасть: пронзительный лиризм, лучезарные мелодии, мягкая грусть и неотразимый энтузиазм исходили от

них. Нужно было закрыть глаза, чтобы радоваться им. Открываешь их – и холодный ужас тут же парализует: всё в социальной сфере было лишь бесконечной серостью, нищетой, которую ничто живописное или лёгкое не облегчало.

Но, бессознательно, я вынес из этого твёрдое убеждение (которое сохраняю до сих пор), что слово хочет, может или должно создавать своё собственное царство, с границами, красками и перспективами, свободно избираемыми душой, отмежёвывающейся от духа. И человек ценен этим безответственным и свободным творчеством.

Когда я, гораздо позже, обнаружу в Европе полное слияние прекрасного и истинного, я не изменю своего мнения, я останусь со своей мечтой, которая сулит мне лишь одиночество и боль, но защищает меня от рутины стада или скуки машины. В Европе, действительно, слышны речи о налогах, выборах, безработице, политических, экономических, интеллектуальных соперничествах; затем обращаешься в сторону реальных буден – и обнаруживаешь безупречное совпадение, совместимость, параллелизм; читаешь и живёшь теми же темами и явлениями. Ничто ни искажено, ни фальсифицировано, ни извращено. Очень утешительно для гражданина, очень удручающе для поэта.

Отныне, после сказок, коньки и лыжи перестали быть моими самыми острыми удовольствиями. Я по-прежнему буду каждое лето проникать в мою родную тайгу с бабушкой Евдокией, чтобы собирать лесную смородину и малину, но сердце моё уже будет там, среди этих зачарованных и ещё недоступных страниц, откуда меня заполняет столько чудес, где хотелось бы обитать моей душе. Я говорю именно душе, ибо дух, как я увижу позже, очевидно, ближе к телу, чем к сердцу.

Если моё внутреннее сентиментальное перерождение сказками была

мгновенным, то мой внешний социальный пересмотр произошёл гораздо позже. Крайняя нищета, которую я познал, принесла, в конце концов, странную близость к настоящей жизни – любопытный параллелизм с той ролью, которую сыграли сказки, приобщившие меня к подлинным мечтам.

Это настойчивое ощущение вечно неведомого, вечно недоступного мира, но переживаемого интенсивно, с восхищением и безграничной верностью, это ощущение породило другое последствие, на сей раз практическое, а не мечтательное. Потребность в побегах, уходах, отсутствиях, исчезновениях. В первую четверть века моего существования последовало пять побегов. Забавно было бы измерять их расстоянием, отделяющим меня от моей люльки: несколько сотен метров, сто километров, триста, четыре тысячи, шесть тысяч. Все эти побеги, кроме первого, я совершал в одиночку.

В свои четыре года я выстроил перед двумя приятелями того же возраста дурацкую теорию, что, следуя берегам Ини, можно добраться до великой реки Оби, которая впадает в Северный Ледовитый океан. Полные решимости, мы отправились втроём в правильном (!) направлении. Метров через триста – неожиданное препятствие, ручей шириной более метра преградил нам путь. Паника, слёзы, взаимные упрёки. Какой-то мужик услышал наш плач и нытьё, пришёл спасать, расспросил и отвёл к родителям. Для остальных это была положенная порка. Меня же похвалил Платон, мягко пожурела Мама и высмеяли остальные. Четыре года спустя я подготовил свой следующий побег куда ярче. Все последующие побеги были безусловными успехами!

В избе я открывал для себя душу моего народа; по праздникам все собирались вокруг грубого стола, уставленного солёными или маринованными огурцами и помидорами, дымящейся картошкой,

копчёными селёдками, сырым луком. Бутылки палёной водки венчали всё и приближали центральный момент этих пиршеств – песни. Все женщины подпирали головы руками, прижимая их к щеке, и затягивали ностальгические песни, где фигурировали в основном ямщики, коченеющие в заснеженной степи, или казаки, обещающие своим красавицам скорое возвращение из походов, куда звали их конь и сабля. Я до сих пор получаю удовольствие, напевая эти мотивы невыносимой меланхолии. М. Кундера в своей «Невыносимой лёгкости бытия» насмехается над великолепной песней о каспийском пирате Разине; я затаил на него обиду навсегда.

Однажды я смогу убедиться, что даже самый безграмотный мужик может сказать что-то трогательное о русской душе, как самый примитивный французский крестьянин скажет что-то разумное о французском духе; а самый тяжёлый на подъём немецкий мясник скажет что-то умильное о немецком сердце.

Как добрые потомки новгородцев, Прокопий и Платон часто вспоминали набеги монголов в Средние века, однако не отдавая себе отчёта, до какой степени эти проклятые бескультурные и грубые всадники оставили позорные следы в русском менталитете: коварство, воровство, жестокость, небрежность в жилище, в одежде, в градостроительстве.

Но вернёмся к моим сеансам чтения. Мне было почти пять лет, и Мама уже не выдерживала моей книжной прожорливости. Счастливый случай упростил мои отношения с письменностью. Платон становился всё более близоруким; очков уже не хватало. Но ему так хотелось читать местную газету «Шахтёр». Больше всего его интриговали новости о Корейской войне, которая только что вспыхнула. Платон рискнул: он начал показывать мне буквы алфавита, произнося соответствующие звуки, надеясь сделать из

меня штатного чтеца своей газеты. Чудо произошло через неделю, хотя с цифрами у меня были большие трудности. Бедный Платон так и не узнает точное количество самолётов, которые терял злой американец в тот знаменательный год моего нового достоинства в царстве букв.

Моё взаимопонимание с Платоном была полным. Он, как и сама Мама, никогда меня не ругал, хотя поводов было предостаточно. Проклятая бутылка пользовалась благосклонностью Платона до последнего дня, к великому огорчению Евдокии, которая приводила ему в пример назидательного Прокопия, всегда трезвого телом и духом. Насколько, по моим пристрастным воспоминаниям, изба Прокопия сверкала тысячей украшений, настолько у Платона всё было в следах проказы.

Платон поручал мне строго секретные миссии, связанные со спиртной лавкой, находившейся на единственной асфальтированной улице района. Последнее обстоятельство немаловажно, потому что до семи лет я не знал летней обуви; я ходил босиком или в тапочках, одолженных у моего старшего единокровного брата. Заботясь о максимальном комфорте в моих тайных передвижениях, Платон радовался, что мои ноги в безопасности на асфальте, когда я бежал с его бутылкой водки в 0,25 литра под рубашкой, с бьющимся сердцем, спасаясь от безжалостных конфискации, которые устраивала бабушка Евдокия каждому курьеру с подозрительной жидкостью. В любом случае, я в конце концов отстранил всех конкурентов, поскольку Евдокия никогда не подозревала, до какой степени я могу быть снисходителен к пороку, который, кстати, разъедал всю округу. Она отпускала меня, зная мои безобидные привязанности только к книгам и огурцам, а не к проделкам хулиганов, которые господствовали по соседству. Однако я вёл себя как хулиган.

Мне было шесть лет, когда Елизавета привела в избу своего

возлюбленного. Всё усложнилось. Нужно было убираться, чтобы уступить место молодым голубкам. Мамина фабрика выделила ей комнату в коммунальной квартире в убогом деревянном бараке, без канализации, без туалета; восемь квадратных метров должны были хватить на нас четверых. Гнус, тараканы и клопы наводняли комнаты и кухни, всякая борьба была бесполезна, квартиры были плохо изолированы друг от друга. Жалкие доски вечно гнили, мороз и дождь быстро сводили на нет любой ремонт.

Повсюду простирались просторы грязи. Зимой там не было видно белого снега, всё было покрыто толстым чёрным слоем угля; шахта была менее чем в километре, с её дымящимися терриконами. Но, о чудо, в нескольких метрах появился первый асфальт, который вёл к центру города.

Теперь это был город! Поскольку посёлок, носивший когда-то имя Кольчугино (от слова «кольчуга»!), был провозглашён городом и наделён звучным именем Ленинск! В центре я впервые увидел сталинские дома, четырёхэтажные, с балконами! Там жили важные лица, назначенные парткомами. Я не осмеливался даже представить, что буду жить в таком дворце; я испытывал примерно те же чувства, которые, по мнению Геббельса, должны были испытывать покорённые славяне, провозимые на рассвете в грузовиках по сверкающим улицам новых германских городов на славянской земле.

Но пока приходилось привыкать каждый день носить вёдра с помоями к омерзительной мусорной яме рядом с общим туалетом.

Каждый день был борьбой за выживание. Магазины были пусты, денег мало, а аппетиты всегда начеку. Сколько раз Мама поднимала меня в четыре часа утра, чтобы я занял очередь у хлебной лавки. И иногда это окупалось! Я возвращался триумфально с буханкой чёрного хлеба под мышкой (белый я узнаю гораздо позже!). Два-три раза в месяц нам

удавался подвиг, такой праздничный, такой радостный – мы раздобывали «мясо»! На самом деле это были гнилые колбасы; что такое настоящее мясо, я узнаю только через пять лет.

Зимой гастрономическим праздником была твёрдая белая лепёшка – так продавали на рынке замороженное молоко! Я нёс эту тяжёлую лепёшку под мышкой, иногда посысывая её по дороге. Дома она таяла в кастрюле, снова становясь молоком, и шла на приготовление настоящих ячменных лепёшек в нашей коммунальной кухне, которую мы делили с польской семьёй, страдавшей от мрачной нищеты гораздо больше нас.

Летом на рынке появлялись желтокожие из Средней Азии со своим грузом дынь и арбузов; их степи были довольно близки, полтысячи километров. Кстати, одна из двух веток Транссиба проходила через мусульманский Казахстан, около сотни километров, через город, носивший имя Святых Петра и Павла; большевики вырезали слово «Святых» из этого непонятного названия, и мусульмане сохранили остаток. Скучная книжная культура сталинских комиссаров объясняет также существование в Москве улиц с кривыми и нечитаемыми названиями, такими как: Воздвиженка, Богоявленская, Предтеченская.

Ещё один большой праздник ждал меня – у меня появилась первая пара летней обуви! Я приплясывал от нетерпения, ведь «большая» школа открывала мне двери, хотя мне ещё не было обязательных семи лет.

Наше путешествие на берега Байкала, где жил мой дядя Миша, было праздником меньшего значения, чем мой первый день в школе. Сын дяди Миши, Герман, станет геологом; он изъездит всю Сибирь в поисках месторождений золота, никеля, алмазов. Друг сибирских племён и их собратьев-эскимосов, он будет участвовать в лыжных гонках на 60 км между Чукоткой и Аляской (кстати, я, как и мой кузен, ношу имя первого

епископа Русской Аляски; в этом можно усмотреть ещё одну гипотезу о моих корнях). Сегодня (начало XXI-го века) Герман живёт в точности в том же посёлке, на том же берегу Байкала, где недавно высадился и описал его С. Тессон.

Но я увязаю в материальных деталях; вернусь-ка я к «духовным». Я уже сам прочитал все сказки, которые были в очень богатой Маминой библиотеке. И теперь я открывал для себя сотни книг, которые Мама хранила под нашей кроватью на Театральной улице и которые я обнаружил в нашем паршивом сарае.

Похоже, что бухгалтерия Маминой фабрики велась очень плохо. Начальство, не имея возможности выплачивать зарплату, предлагало рабочим натуральную компенсацию. Продовольствие, увы, не входило в список предлагаемых товаров. Это могли быть кастрюли, открытки, пуговицы, конфеты или ... книги. Так, в ущерб нашим земным аппетитам, страна поддерживала небесные! И я открывал для себя, ослеплённый, фантастических авторов. Там были, конечно, Ж. Верн, Ф. Купер, М. Твен, Р. Стивенсон, А. Грин, В. Каверин, но также Бальзак, Стендаль, Гюго, Дюма, Мопассан, Золя, Р. Роллан, Голсуорси, Диккенс, Теккерей, Стейнбек, Дж. Лондон, Гёте, Г. Гейне, Т. Манн, С. Цвейг и многие другие, не говоря уже о русских авторах.

Мама могла бы служить пропагандистским плакатом для иллюстрации цивилизаторской миссии советской власти. Я же скорее ассоциировал бы эту власть с бесчисленными очередями, которые я отстаивал за спичками, тапочками, маргарином, гвоздями, ручками, конфетами и т.д. Даже за билетами в кино нужно было вести настоящие битвы, самые нетерпеливые зрители не стеснялись пробиваться к кассам, взбираясь на плечи и головы понимающей и смеющейся публики. Драки, потасовки, кулачные бои,

удары ножом оживляли наши бесконечные ожидания. В трёх случаях из четырёх мы возвращались ни с чем; и вставали на час раньше для следующего утреннего стояния в очереди. Жили надеждой, как подтвердили бы маркизы у М. Пруста.

Замысел моего второго побега зрел с тех пор, как я узнал, что моя крёстная, возможно, принадлежит к той же семье, что и мой предполагаемый отец. Я никогда не донимал Маму вопросами о моём родителе; злые языки доходили до ужаса, предполагая, что он был немцем! Но мою крёстную звали Гертруда, она переехала в областной центр; я хотел узнать правду и разработал план молниеносного визита к этой высокой и красивой даме, которая уже приезжала на Театральный переулок, где высокомерные черты её лица оставили смутные воспоминания в семье, граничащие с ненавистью и недоброжелательностью.

Чтобы больше не возвращаться к этой щекотливой теме моего происхождения по отцовской линии, я упомяну мою последнюю попытку привязать мою кровь к неизвестной линии. У меня оставалось двадцать четыре часа до поезда Москва–Париж на Белорусском вокзале. На московском бульваре я остановился у киоска городской справочной. Некая тёмная и смутная сила толкнула меня к окошку, где я машинально заполнил бланк запроса адреса, вписав одно из трёх имён, которые упоминались по соседству с нашей семьёй в Сибири в связи с моим неуловимым отцом. Я сделал это совершенно бессознательно, без всякой подготовки, без эмоций, без ожиданий, без надежды. Через минуту мне вернули мой бланк – он был дополнен фамилией и номером телефона. И там был адрес! Пушкинская площадь, в десяти минутах ходьбы от того места, где я находился.

Рядом с огромным кинотеатром «Россия» и над кафе, где подавали отличный горячий шоколад (мои студенческие годы приводили меня туда

так часто. Одна, слишком снисходительная Натали приводила туда Ж. Беко, чтобы мифологизировать этот пушкинский шоколад). Я нахожу дом, указанный в моей бумажке, поднимаюсь на второй этаж, звоню. Ошеломлённая дама резко открывает мне дверь и бросает: Доктор, наконец-то, как вы медленно! Я теряю дар речи, эмоция душит меня, мои отрицания неслышны. Дама ведёт меня в комнату, где я вижу старика, совсем бледного, в глубине кровати, в ужасном беспорядке. Дама выходит на мгновение, и я успеваю бросить свои безумные слова в лицо умирающему: Вы знали Полину И. в Сибири в конце войны? Перепуганный старик вскакивает на кровати от неожиданности, его выпученные глаза выражают страх или враждебность. Уже слышны шаги дамы, возвращающейся из кухни по коридору. «Да» раздаётся как погребальный звон в моих недоверчивых ушах, я бросаюсь к выходу, а дама провожает меня ненавидящим и испуганным взглядом.

Тридцать лет спустя один русский олигарх захотел показать мне свои новые роскошные офисы — это была квартира моего предполагаемого предка! Тихие мафиози размещали там свои тёмные дела по продаже компьютеров. Но кафе всё ещё было там; горькая меланхолия испортила мне удовольствие от выпитой чашки, как раньше.

Но нужно было собирать чемоданы, вернее, наполнять коробки книгами — моим единственным багажом, который я вёз в далёкую Францию. Отцовская глава была закрыта.

Но в восемь лет генеалогические поиски были менее драматичны. У меня уже был адрес Гертруды. Среди зимы я предпринял поездку на сто километров на автобусе. Автобус не отапливался; температура была около -40°. В сибирскую зиму темнеет рано. Автобус не проехал и половины пути, как сломался, в чистом поле, среди ночи. Внутри было от -10 до -

20°; перепуганный водитель возился под капотом, но тщетно. Пассажиры опасались худшего; мобильных телефонов не появится ещё полвека. Моей самой большой заботой были ноги. Я уже дважды терял кожу на пальцах ног из-за обморожений во время смелых лыжных вылазок. Я съёжился, прикрыв ноги, нахлобучив шапку, чтобы защитить рот. Пассажиры в конце концов выгнали несчастного водителя наружу, чтобы он шёл пешком до ближайшей деревни за помощью. Эта жестокость была бесчеловечной, поскольку в этом регионе ближайшая деревня могла находиться за 30 километров (для остальной Сибири – до 100). Бедняга мог там и остаться, движение в этот час и в такую погоду было крайне редким. Тем не менее, через два-три часа нас спас грузовик. Я добрался до Кемерова; крёстная Гертруда баловала меня своим штруделем; она отчитала меня за то, что я ничего не сказал Маме. Я успокоил её, сказав, что с раннего детства Мама знала, что моя страсть к побегам может проснуться в любой момент без предупреждения. Атмосфера стала настолько непринуждённой и даже весёлой, что я оставил в стороне цель моего визита, столь же серьёзную, сколь и неожиданную. Гертруда, должно быть, приписала мои географические фантазии семейному недопониманию и не стала меня больше расспрашивать. Я вернулся домой через три-четыре дня.

Дважды меня отправляли в пионерские лагеря. В начальной школе, где мальчики и девочки носили одинаковые короткие юбочки, я уже познал коллективные радости и печали; в лагерях я чувствовал себя так же неловко. Я был неуклюж во всём: в играх, в рассказывании анекдотов, в организации пакостей против наших вожатых. Я видел медведей на свободе, я сильно испугался, когда меня укусил злобный клещ – переносчик энцефалита; я лакомился лесной земляникой, такой ароматной и сочной; столовая, после вечного голода дома, наполняла меня радостью

своими ячменными кашами; сосновые и кедровые леса были пугающими и величественными. Столько белок и рысей приносили в этот эпический пейзаж – жизнь, красоту, иное место, достойное моих снов.

Я сделал огромное открытие в нашем курятнике. Если на Театральном переулке были только русские, то на улице Кирова (да-да, это опять напоминает о театрах, но теперь было далеко до балета; в отличие от театра на Неве, который сегодня называется Мариинским, моя улица до сих пор носит имя этого мужика, зарезанного Сталиным, которому он, говорят, мешал), да, на улице Кирова я познакомился со множеством племён, из которых самыми заметными были поляки и немцы (именно присутствие последних ускорило мои приготовления к Побегу номер два). Великороссы, к которым относилась моя семья, не составляли там абсолютного большинства.

Привычка жить среди этих трёх этносов так глубоко проникла в моё сознание, что лишь десять лет спустя я осознал, что моим лучшим другом в то время был поляк Э. Сальцевский, а моей подружкой – немка И. Ницер. В семье первого я слушал, с теми же слезами на глазах, знаменитое «Прощание с Родиной» Огинского. Семья Евгения была депортирована в Сибирь после раздела Польши между нацистами и Сталиным, но я узнаю об этом гораздо позже. Моя подружка Инна в конце концов вернётся в страну своих предков, в Германию; она будет ужаснута немецкой холодностью и с жаром отдастся святой православной вере, о существовании которой раньше даже не подозревала. Я получил от неё капитальный урок, который заставил меня ценить важность выбора ограничений в творчестве; она процитировала мне стих Ангелуса Силезиуса: *Mensch, sei wesentlich* (Человек, цени существенное). С тех пор я стараюсь избегать всего несущественного. Дальнейшее доказало мне

огромную пользу этой интеллектуальной дисциплины.

Детство хочет наполнить всё счастьем и беззаботностью; меланхолия и восприимчивость к страданию посещают нас лишь в отрочестве. В Московской консерватории я увидел картину Репина «Славянские композиторы», где обнаружил головы Шопена и Огинского. Родители Евгения открыли мне другой способ быть славянином – с большим достоинством, гордостью и той загадочной свободой, этой самой потребностью, непонятной для большинства русских. Я, разумеется, лишь перевожу мои очень смутные впечатления в сегодняшние выражения.

Немка Инна дала мне первые уроки немецкого; её занятия были так проникновенны, что я сохранил нетронутой тональную и мелодическую близость к этому языку, ставшему почти моим вторым родным языком. Польский, к сожалению, угас довольно рано, поскольку бедный Евгений покончил с собой в четырнадцать лет.

Я был единственным русским, умевшим общаться с поляками и немцами на их языке; ценимый одними, подозреваемый в предательстве другими. Кроме того, большинство моих одноклассников были детьми сосланных. При известии о смерти Сталина вся страна погрузилась в слезливое оплакивание; в Ленинске я не слышал рыданий; зато я заметил какие-то искры в глазах, явно обретавших смутные надежды среди ада.

Одна польская семья родом из Галиции делила с нами нашу коммунальную квартиру. Сквозь перегородки я слышал весёлые голоса этой весной 1953 года. Треть наших учительниц (учителей-мужчин не было вовсе) были поволжскими немками (кстати, моя крёстная Гертруда была родом из этого региона, населённого немцами с XVIII века). Они тоже не скрывали своего облегчения, сдержанного, но легко уловимого.

Мои единокровные братья чувствовали себя вольготно в наших

пролетарских трущобах. Старший, Виктор, стал грозным охотником. Соблюдая местный ритуал, он убил своего первого медведя ножом, не получив ни царапины. Дюжина медведей, последовавших за ним, принесли ему некоторое материальное благополучие благодаря продаже шкур, ценимых как одеяла в суровые зимние ночи. По доброй воле Виктор пошёл в шахтёры на угольную шахту, что означало для нас бесплатное отопление – грузовики часто не вписывались в повороты.

Самогонные аппараты работали на полную мощность в пригородах; мои братцы угощались ими обильно и часто. Мама, чтобы компенсировать эти прорехи в семейном бюджете, часто вставала в четыре утра, чтобы разгружать грузовики и заработать недостающие рубли. Десять лет спустя она будет укорачивать свои ночи теми же упражнениями, чтобы посылать мне, студенту, десять или пятнадцать рублей. Но я узнаю об этом только позже. Никогда мой стыд не был острее, а слёзы – искреннее.

Валерий был скромным и застенчивым; он играл на гитаре, как и Мама (я до сих пор слышу, как она поёт грузинскую песню о царице Тамаре). Учёба наводила на обоих скуку, и Валерий присоединится к Маме на металлургическом заводе в качестве кузнеца. Только не воображайте электронный пульт с хорошей клавиатурой; это был двадцатикилограммовый молот, которым он должен был размахивать с голым торсом, выковывая топоры, наковальни или стальные плиты.

Оба они дадут себе умереть с неким пассивным и смиренным согласием, с помощью отупляющего алкоголя и бесконечных социальных тоннелей без единой искры в конце.

Что ж, драмы на улицах Ленинска были нашим хлебом насущным. Я до сих пор вижу моего друга Александра, ныне калифорнийца, окружённого бандой, размахивающей ножами у его лица, в то время как

один из них удерживал меня в стороне, обещая сохранить мне жизнь. Беспомощность, трусость, предательство – так я буду переживать эту сцену сотню раз, залитый стыдом. Но Саша никогда не держал на меня зла; он лучше меня знал разумное поведение в случае смертельной опасности; он ежедневно сталкивался с насилием, жестокостью, звериностью наших сограждан.

Я возвращаюсь к радостям (относительным). Мой третий побег назревал в тот день, когда я познакомился с моими прелестными кузинами, Светланой, Лидией и Галиной, приехавшими в Ленинск на похороны Платона. Да, мне было десять лет, когда мой лучший благодетель и наставник, моя нежность и ласка, скончался от своих возлияний и лени. Он знал трёх императоров и полдюжины Генеральных секретарей. На похоронах Евдокия пророчествовала мне: никто не будет любить тебя так, как дедушка Платон. Я попросил попа, можно ли мне оставить на память бумажный венец с нацарапанными на нём божественностями, который окружал белый лоб Платона; поп, разгневанный, пообещал мне внешние геенны за столь грубое неуважение к религиозному достоинству. Насчёт грядущей любви Евдокия, к счастью, ошиблась и в прошлом, и в будущем. Я познал две великолепные любви: со стороны Мамы и моей французской спутницы, которые полностью утолили мою потребность быть любимым. Но Евдокия была права в отношении дружбы: ни одна дружба не принесла мне столько наивного соучастия и улыбчивого умиления, сколько добродушное тепло Платона. Мои проделки в винной лавке, которые, возможно, стоили Платону нескольких лет жизни, я теперь переживал как романтические эпопеи, придуманные и провернутые моим мудрым сообщником.

Мои кузины были дочерьми Маминой сестры Любви, очень странной

особы с монгольским лицом. Тяжёлые подозрения должны были падать на супружеские добродетели бабушки Евдокии. Их отцом был мой крёстный, крестьянин из Рязани, из Центральной России. Весьма характерный мужик: пьяница, лентяй, жизнелюб, лёгкий сердцем и тяжёлый душой.

Нужно было проехать триста километров. На этот раз я впервые собирался сесть в поезд. Никого не предупредив, я высадился на вокзале Новосибирска (бывшего Ново-Николаевска). Прежде чем сесть на трамвай, чтобы пересечь Обь, меня поразил гигантский Оперный театр. Именно там я на следующий день услышал свою первую оперу – это был «Летучий голландец».

Меня отчитала Любовь за мои дикие и неучтивые выдумки. Но стол и раскладушка были мне обеспечены с большим радушием. Моим кузинам было очень любопытно узнать поближе этого дикаря, вышедшего прямо из тайги. Эта семья переживёт совершенно обычную судьбу в те времена насилия и нищеты: младшая будет зарезана ревнивым приятелем, а следующая покончит с собой по любовным причинам. Ничего особенного; это уже видели везде, рутина, норма; судьба, как её банализируют русские и драматизируют немцы.

По моём возвращении, Мама умоляла меня предупреждать её о следующем побеге, который, как она понимала, был неизбежен.

Лето длилось полтора месяца. Я помню обильный снег, обрушившийся на наши улицы 22 июня. В начале августа деревья уже стояли голыми. Сначала зимы меня восхищали, потом ужасали. Школа закрывалась при -40° ; мой рекорд был -52° . С $+47^{\circ}$, которые я испытал в Севилье, разница составляет 99° . Перешагну ли я когда-нибудь отметку в 100° разницы?

Я видел, как воробьи падали замертво, начиная с -45° . Мы

развлекались тем, что плевали вверх и слушали, как падает льдинка, звеня, как хрусталь. Самая жестокая шутка заключалась в том, чтобы предложить новичку лизнуть металлический предмет – это был мгновенный супер-клей.

Как я полюбил этого восхитительного С. Тессона после его рассказа о пребывании в сибирской деревне! Я узнавал все мелкие детали моих сибирских перипетий. Это человек с обострённой чувствительностью, неисправимый мечтатель, кочевник пешком, как я кочевник душой. Жить казалось мне синонимом убегать. Бежать – значит повелевать – это мы могли бы сказать друг другу посреди наших маршрутов, пересекавшихся в противоположных направлениях!

Есть фантастические хиазмы в наших взаимных путях. И даже в жанрах, которые мы предпочитаем. Я не способен на такую спонтанность и последовательность в повествовании о том, что видел или пережил. Вы лучше узнаете быт сибиряка у С. Тессона, который провёл там несколько месяцев, чем у меня, который топтал там ноги пятнадцать лет! На этих страницах вы, вероятно, не узнаете ничего весомого о моих душевных состояниях; вы обнаружите каждую рану в душе С. Тессона в его потрясающих страницах искренности и уязвимости, оставаясь при этом точными! В обратном смысле, я обнажаюсь в моих абстрактных максимах; за их пределами нет ничего, что можно было бы открыть в моей скрытной личности; они были бы оценены только красными каблуками XVIII-го века в Париже. Но бедный С. Тессон не существует в своём жалком сборнике афоризмов с вопиющим недостатком оригинальности, глубины и даже высоты. Он приходит из культуры духа, культуры спокойной и умеренной, чтобы закончить в неистовой и грандиозной природе; я покидаю ту же природу, чтобы окунуться в беспокойствие и избыток культуры мечты.

Французская академия только что избрала нового члена, А. Макина, который провёл детство в тех же местах, что и я. Как и с С. Тессоном, публика ценит подлинность финалов и не доверяет изобретательности начал. С. Тессон найдёт своих ворчунов, а А. Макин – своих чернорабочих; я же останусь со своими сказками.

Отрочество в Сибири наступает поздно. В четырнадцать лет я едва знал некоторые волнения и тревоги в ещё слишком юном теле. Тёплые края, где темпераменты ищут экстаза под озорным солнцем или у ласкающего моря, – эти края начинали меня привлекать. И я уже замышлял свой следующий побег, чтобы завершить объезд семьи.

На Кавказе жили моя тётя Ольга, с моей кузиной Людмилой и кузеном Борисом. Мой дядя Миша, с сыном, который тоже носил моё германское имя, присоединился к тёте; они устали от вечных снегов, примерно как и я сам. Нужно было преодолеть пять тысяч километров. Закалённый тремя предыдущими побегам, я отправился в четвёртый с лёгким сердцем – легче, чем мой кошелёк, который даже не предусматривал обратного билета, как и три года спустя в моём московском набеге.

Мама была поставлена в известность о моём отъезде. Предлог был довольно оригинальным: монотонность моих оценок в школе – всегда лучшие по всем предметам – породила бы у меня подозрение в снисходительности учителей, я должен был испытать себя в среде, где я был бы лишь чужаком, чтобы убедиться в своих «объективных» способностях.

Путешествие длилось почти шесть дней. Я сделал остановку в Москве. Я уже прочитал Бальзака и Стендаля, и хотел вскрикнуть, высадившись на Казанском вокзале: вот столица, которую я скоро завоюю своими нетронутыми талантами из тёмной и глухой провинции!

Ожидаемого гордого и благотворного потрясения не произошло; напротив, я увидел массу замкнутых, ограниченных, однообразных лиц. Я быстро понял, что в Сибири ещё можно было увидеть отблески свободных выражений на лицах последних непокорных. В Москве все лица говорили о раболепии, страхе и подлости. Я пересёк Красную площадь (которую я видел, как и Ж. Беко, белой от снега, но также чёрной от народа и зелёной от страха); я увидел за кремлёвскими стенами купола трёх великолепных соборов. Я открывал для себя цивилизацию, которой так не хватало среди сибирских лачуг. Церкви были моим самым благотворным сюрпризом.

В мире, закрытом для Красоты, мои мысли были парализованы, не видя ни одной отдушины, выходящей на интеллект, элегантность, благородство. Следы веков, более милостивых к Прекрасному, принесли мне первый маленький зуд в том месте, где должны расти крылья.

Я ещё больше замкнулся в себе и стал ещё внимательнее в выборе книг. Не для чтения, а для жизни! Жизнь, кроме того, обрела более реалистичные очертания. Скоро придут мои первые рифмы и первые ритмы. Поэт родился во мне в тот день, с осознанием того, что прекрасное может гармонировать с истинным, что искусство может не только замещать жизнь, но и сопровождать её без трений и отторжений. Возможно, не братски, но художественно. Жизнь может быть интенсивной, а искусство обязано ею быть!

И вот я у подножия Кавказских гор. Был конец лета. Я открывал для себя настоящие яблони, абрикосы, грецкие орехи, сливы. Перед виноградниками и апельсиновыми деревьями я онемел; они были ближе к моим сказкам, чем к реальности, где играют, работают, считают. Я пожирал глазами кипарисы, оливы, лавры; я знал их названия лишь по экзотическим восточным книгам.

Тётя Ольга жила в великолепной вилле, окружённой садами и виноградниками. Её муж, Тимофей, бывший полковник КГБ, отличился во время войны ударными операциями, такими как депортация целых народов с Кавказа и Крыма за пособничество врагу.

В семье все были немного смущены, принимая лохматого, взъерошенного, ошеломлённого персонажа в лохмотьях, лепечущего бессвязные слова, оправдывая своё внезапное появление. Я почувствовал небольшое облегчение, узнав, что я, возможно, немного развею их печаль, поскольку их сын Борис только что покинул дом, чтобы учиться прекрасному ремеслу артиллериста на берегах Азовского моря. К тому же, моей кузине больше не нужны были репетиторы; я поклялся быть компетентным по всем школьным предметам (в то время я не был в этом так уж уверен).

Город был основан великой Екатериной и назывался Екатеринодар; после революции новые хозяева не стали особенно заморачиваться и механически переименовали его в Краснодар. Жители были потомками знаменитых запорожских казаков, известных своей дикой недисциплинированностью. С годами из украинцев они стали русскими. Любопытная гео-этно-политическая деталь: по ту сторону пролива (у Гомера это была граница между миром живых и миром мёртвых), русскоязычный Крым был недавно отдан этим придурком Хрущёвым Украине!

Сибирский мужик не имел никакого понятия о превосходстве или неполноценности культурного наследия; он жил в полном неведении внешнего мира; его дикость не основывалась ни на каких исторических соображениях, у него не было Истории (однажды я узнаю, что для Гегеля Сибирь была самым непроницаемым уголком планеты для какой-либо

культуры). Казак же хранил тысячелетнюю память; он знал поляка, турка, кавказского горца, мусульман; его суждения были идеологическими и расовыми; племенной произвол был его законом и правилом; его потенциальная жестокость заставляла меня содрогаться. Я спрашивал себя, не является ли звёздное невежество меньшим злом по сравнению с ненавидящим знанием. Эти казаки помогли Екатерине оттеснить турка до Дуная, чтобы установить там новую границу России. Но она хотела избавиться от этой недисциплинированной орды; Крым был обещан великороссам, казаков же отправили в туркменские степи Кавказа в подкрепление донским казакам, которые делали туда лишь смелые набеги.

В школе дела пошли лучше, чем ожидалось. Учителя были примитивнее, чем в Сибири; молодые казаки, друзья степи, оказались более тяжёлыми и инертными, чем мои коллеги по сибирскому лесу. Мои оценки были такими же, как в Сибири, пари можно было считать очень быстро выигранным.

В течение двух лет я пользовался добротой моей превосходной тёти, которая открыла мне море. В Сочи я впервые увидел бесконечный горизонт; я уже знал бесконечный звёздный небосвод, которым любуются в сибирском лесу.

Я вернусь к этому морю пять лет спустя, на втором курсе университета; у Университета было две летние базы на берегу Чёрного моря, другая находилась в Абхазии. В тот год мой кузен Борис находился на южной оконечности СССР, его пушки были нацелены на Афганистан; я же был на Северном пределе, в Мурманске, где один из моих однокурсников обучался суровому ремеслу подводника.

Чуть позже я дважды объеду Крым. На своём древнем четырёхкрылом самолёте подвыпивший пилот спустит меня в Одессу, где я буду очень

разочарован местной рыбой; в сибирских реках я находил её более вкусной. Но Опера там была определённо изящнее, чем в Новосибирске. Её архитектура отдавала Австро-Венгрией.

Противопоставление Север-Юг, которое я теперь ношу в себе скорее бессознательно, датируется моим пребыванием среди казаков. Улыбка посещала меня гораздо реже, чем мечта, и я чувствовал себя чаще на стороне северного мечтателя, чем южного певца. Я открыл для себя русские колонии Закавказья во время военных сборов на четвёртом курсе университета, когда я надел тропическую форму – шорты, шляпу, высокие гетры – на базе Красной Армии в Азербайджане. Там я открыл для себя мусульман, ослов и инжир. Под искусственным холмом я увидел центр воздушного наблюдения, где на гигантских экранах отслеживали все самолёты от Пакистана до Израиля.

Ничего не поделаешь, мои вкусы остались неизменными: лес и вертикаль привлекали меня больше, чем море и горизонталь. Дерево, больше чем корабль, копило сокровища для передачи в загробный мир. Я открою для себя гораздо позже огромное удовлетворение от посланий, доверенных бутылке в море. Чтобы узнать это, нужно читать Гёльдерлина или Целана.

Через два года, проведённых в Краснодаре, я вернулся домой. Я миновал Москву, остановился ненадолго в Сталинграде. Недавняя титаническая битва всё ещё давала о себе знать; трагический город, столько крови пропитало его землю, столько отголосков имела чудесная победа. По пути я открыл для себя калмыцкую пустыню, степи, символическую роль великой Волги: Древняя Русь начиналась только на её западном берегу; область между Волгой и Уралом была заселена либо автохтонными финно-угорскими племенами, либо потомками тюркских

племён, вовлечённых в монгольскую авантюру в Средние века. На Урале видны очень красивые горы, реки, озёра, леса; есть всё, чтобы сделать из него русскую Швейцарию. За Уралом, почти на тысячу километров простиралась унылая степь Западной Сибири; лишь меланхолические берёзовые рощицы вносили некоторые развлекательные пятна. Вселенная тайги имела своим форпостом столицу Сибири, Новосибирск, где я покидал Транссиб, чтобы повернуть на юго-восток, в сторону Монголии; Ленинск находился на полпути.

В Сибири мне оставалось пройти два класса. Я возвращался из Европы с гораздо более контрастным и нюансированным взглядом на мою страну. Я начинал лишь понимать пути моих товарищей по несчастью. Я замечал теперь, что моя учительница математики была немкой, моя учительница английского – еврейкой, моя учительница физики – бывшей графиней из Санкт-Петербурга, искупающей грех своего происхождения. Почти все – ссыльные! Я узнавал, что Достоевский после отбытия каторги поселился совсем рядом с нашим сибирским бараком, точной копией моего собственного. Он венчался в знакомой мне церкви. В соседней школе преподавал сын великой поэтессы А. Ахматовой; его ссылка была причиной и темой её потрясающего «Реквиема», который я прочту лишь десять лет спустя. Теперь я понимал, почему уровень наших учителей, как педагогический, так и интеллектуальный, был заметно выше того, что я видел в Краснодаре, на Кавказе.

Но эти политико-исторические соображения вовсе не были в центре моих забот; я был одержим поэзией. Русскую я уже знал довольно хорошо; я взялся за немецкую: Гёльдерлин, Гёте, Шиллер, Рильке, Георге, Трагль, Гессе. Мой английский был слишком слаб; я читал в переводе Байрона, Шелли, Теннисона, По, Йейтса. Байронизм повлиял на меня больше

других; я был в восторге от чудесного Рильке.

Поэзия в советской России пользовалась невероятным престижем. Только математики, физики и актёры могли соперничать с поэтами. Огромная серость повседневной жизни делала драгоценным любой побег в абстрактное знание или в транс нереальности. Все тоталитарные режимы хотят искупить в прекрасном, в мечте, то, что они фатально упускают в истинном, в реальном. Демократия и всеобщее насыщение лишают нас всякой потребности в головокружении и оставляют наедине со скукой реального.

Я был, как и многие русские, бессовестным растратчиком своих даров. Европейец очень рано находит наиболее перспективный путь для своего самого реалистичного таланта и прилагает все усилия, чтобы следовать им. А я знал так много русских, которых, как и меня, охватывала скука, как только достигнута вершина в той или иной области знания. Это приводит к столькому дилетантизму, ошибкам в выборе карьеры, тяжёлым конечным разочарованиям, крахам и незаполнимым пустотам.

В СССР существовала престижная традиция – олимпиады для школьников. Из всех предметов математика была самой престижной. В этой дисциплине, которая не внушала мне безграничного восхищения, я тем не менее был победителем сначала в своём городе, затем в области и, наконец, во всей Сибири. Москва ждала полсотни лучших школьников страны на всероссийскую олимпиаду по математике. Моё выступление было посредственным; мои столичные конкуренты доминировали, оставив мне жгучее желание реванша. Для этого нужно было вернуться в Москву, чтобы посещать лучших педагогов. Однако эта горечь была быстро развеяна моим возвращением к поэзии.

Но зов столицы остался; нужно было выбирать путь. Я боялся

унизительного политического давления, царившего почти во всех высших учебных заведениях. Я нашёл три области, где это давление было слабее, чем в других: математика, дипломатия, театр. Я питал антипатию к первой, был никудышен в третьей, оставалась вторая.

И вот, с моей золотой медалью в кармане (это кое-что поценнее, чем отличие «très bien» на французском бакалавриате), я покинул школу и прибыл в Москву. В Институт международных отношений (МГИМО), в престижном районе Москвы, приёмная комиссия конкурса быстро и иронично отклонила мою заявку. Доступ в это заведение был зарезервирован для детей партийной элиты; любой москвич это знал; я проглотил пилюлю, с пустой головой и опущенными руками. У меня не было больше ни гроша в кармане, чтобы заплатить за обратный билет в Сибирь. Новосибирский университет, из-за моих олимпийских лавров, предлагал мне место вне конкурса, но срок принятия истёк. К счастью, на той же линии метро, тремя станциями дальше, находился Московский университет, тот самый, где год назад я соревновался с лучшими математиками. Я отправился туда; на механико-математическом факультете был предпоследний день регистрации на вступительные экзамены. Я ещё не говорил: «Что я буду делать на этой галере?»; я испытывал облегчение утопающего, который вдруг в последний момент хватается за доску — гнилую, но плавучую.

Так началось моё решающее свидание с Москвой.

- Сибирь моими глазами -

Москва, как много...

Национальное величие, обычно само по себе неглубокое и надуманное, и связанное с ним головокружение свойственны странам с разросшейся столицей, подавляющей своей весомостью все провинции. Так случилось с Францией и Австрией, и в меньшей степени с Англией.

Италия и Германия страдают от отсутствия единого могучего центра. В Италии богатый и предприимчивый Север свысока смотрит на отсталый в экономике Рим. Очаровательные немецкие университетские городки, наследие политической раздробленности страны, принимают самую блестящую молодёжь, в то время как Берлин, Мюнхен и Гамбург довольствуются ролью политико-экономических центров.

В течение двух веков, две русские столицы, Санкт-Петербург и Москва, на равной ноге соперничали в сфере культуры. После Революции Москва вопиюще подавляет соперника на научной сцене и, в меньшей степени, на художественной. Этот процесс ускорился в связи с разрушениями в блокадном Ленинграде во время Отечественной войны.

Провинция отставала от двух столиц в огромном размере. Но даже в столицах, большинство советских научных школ намного отставало от Запада, из-за их изоляции от развитого мира. Лишь горстка этих центров могла соперничать с европейскими и американскими. Шарлатанство царило в большинстве русских вузов. Фанфаронить о самом высоком в мире проценте *учёных* было грустным фарсом. Было бы благоразумно их просто закрыть, с пользой и академической, и экономической, и человеческой.

Математический факультет Московского университета входил в полдюжину лучших школ мира, сравнимых с ENS с улицы Ульм или с Принстонским университетом. Сегодня это уже не так, увы.

Вступительный конкурс состоял из восьми экзаменов. Две тысячи кандидатов на сотню мест. В итоге я оказался в первой пятёрке (в *сапоге*, как сказала бы моя дочь-энарка Анастасия, или среди *кациков*, как сказал бы мой друг-нормалист Р. Дебре. Двое из этих кациков будут свидетелями на моей свадьбе десять лет спустя).

Москвичи, которых я знал и которыми восхищался в прошлом году на Олимпиаде, стали уважительней и дружелюбней. Поскольку региональных акцентов в России почти нет, никто не мог догадываться о моём происхождении. Привыкнув говорить с несколько чопорной интонацией, я сходил за прибалта. Тремя годами спустя, я навещу Прибалтику – там я не найду ничего, кроме деревенщины, тяжёлой и невыразительной, хотя и с менее грубыми нравами, чем в России. Во всяком случае, мне следовало бы отказаться от тех сомнительных московских комплиментов.

Итак, я в студенческом общежитии, рядом со сталинской высоткой Университета. Нас четверо в комнате - азербайджанец, украинец, паренёк с дальнего Севера и я, сибиряк. Очень скоро я замечаю, что единоличностью и оригинальностью мои провинциальные коллеги не блещут. Студенты из москвичей воспитанней, ироничней, интересы их разнообразней и шире. Происходят они из семей, где искусство и наука совершенно естественно соприкасались и находили общий язык. Провинция окончательно исчезнет из моих интеллектуальных горизонтов. Я стану москвичом прежде чем стать парижанином. Кстати, высадившись в Париже десять лет спустя, меня встретил дядя моей спутницы, которому я послужил проводником, пересекая город от Северного вокзала до ворот Иври, ни разу не сбившись

с пути!

На вступительной церемонии поступления на мехмат МГУ я был потрясён приветственной речью великого академика Колмогорова. Его самые употребимые слова были – *любовь, страсть, воображение, творчество*. Он ставил рядом с математиком – поэта, философа и музыканта. Первый и приятный сюрприз! За ним последовало пренебрежительное отношение к физике, как и к любой другой прикладной науке.

Пятнадцать лет спустя, во Франции, я буду тщетно искать малейшее упоминание о любви или страсти во взгляде на величественное здание вселенской математики. В наше время, повсюду, этим благородным искусством занимаются с такой же бесстрастностью, что и бухгалтеры с адвокатами в своих сферах.

Колмогоров процитировал слова великого Д. Гильберта - *этот бывший математик, не обладая достаточным воображением, стал поэтом*. Он упомянул пифагорейскую и галилеевскую философию, которая делала математические концепции подлинной онтологией Вселенной, самым основанием реального мира, чем-то вроде платоновских Идей, предполагающих будущую реальность. Чудесное соответствие между бестелесной абстракцией, внеземной интуицией, строгой логикой, с одной стороны, и практическим наблюдением, с другой, должно было бы заставить задуматься всякий, хотя бы немного философский, ум.

Другой академик, П. Александров, тоже произвёл на меня неизгладимое впечатление. Он учился в Германии, там познакомился с Эйнштейном. Он говорил на шести языках, но вершиной его культуры была его меломания. Он устроил в нашем общежитии свои музыкальные вторники, на которые собиралась горстка студентов. Мастер приходил со

своими пластинками. Четверть часа музыки, два часа его пламенных комментариев. Он жестикулировал, вскакивал, напевал, барабанил пальцами, рассказывал анекдоты из жизни Баха, Моцарта, Бетховена. Он плакал вместе с нами, он ругал нас за недостаток чувствительности или за излишек рассудительности в наших неуклюжих попытках анализировать и понимать таинственное происхождение эмоций, которые вызывает благородная музыка. Единственное искусство без посредников, единственное искусство, которое, исполняясь в необратимом времени, ставит нас лицом к лицу с бытием, то есть с пространством, которое можно обживать согласно вызванному музыкой порыву, единственное искусство, в конечном счёте, божественное, поскольку непостижимое.

И этот же Александров, столь утончённый, столь глубокий, учёный столь тонкого вкуса, занимался, как я узнаю гораздо позже, доносительством в тридцатые годы. Он был у истоков репрессий против тех, кто сохранил немного критического духа по отношению к варварскому режиму, который своей жестокостью и некомпетентностью разорял страну.

Двадцать лет спустя я встречу Гротендика, лауреата Филдсовской премии, гениального и чудаковатого математика. Всё, что он говорил о математике, было банально до зевоты. Он заставлял меня читать тысячи страниц, которые он лихорадочно нацарапывал к концу своей жизни, – страницы, которые должны были изложить его философские взгляды на центральные проблемы жизни. Это был ворох лжеплатоновских банальностей. Определённо, чистейшие гении, математический и музыкальный, лишь очень редко способны к философскому размышлению, где нужны синтезирующий интеллект, благородство подхода, поэтическая ирония.

То, что мне сделало Гротендика бесконечно близким, – это трагедия

смерти его матери, которую он пережил так же мучительно, как и я – смерть моей Мамы. Он хотел бросить свою математику, но не смог. Я, оказавшись в том же состоянии, оставил свои изыскания по искусственному интеллекту. Но затем мы оба обернулись к одной и той же теме - философии. Опубликовано до 10% нашей писанины. И для обоих французский не был РОДНЫМ языком!

Ещё позже я прочёл книгу одного из моих учителей, Манина, с прекрасным названием *Математика как метафора* – пустая, поверхностная речь, не умеющая выйти за рамки исключительно математического размышления, чтобы перевоплотиться в жизнь идей, образов и вкусов. Но это было для меня не разочарованием, а скорее, признанием того, что распределение талантов действительно непредсказуемо, ускользая от всякой прямолинейности, монотонности, монолитности.

И музыканты точно так же блистают интеллектуальной ничтожностью, а ведь как много живописцев, изобретательных в словоплетении, - можно сказать, что кисть у них идёт рука об руку с умом. Ноты же, по-видимому, напротив, от ума удаляются, чтобы нести одну дрожь.

Со второго курса нужно было выбирать кафедру; я выбрал самую абстрактную, наименее прикладную дисциплину – алгебру. Среди профессоров моей кафедры были ребята моложе тридцати – Арнольд, Гельфанд, Манин. Я посещал семинар по теории Галуа Шафаревича, друга Солженицына и крупного диссидента, блестящего алгебраиста и красавца. На своей даче он собирал студентов, интересовавшихся политикой или историей; они воображали себя наследниками декабристов. Опасность возбуждала, атмосфера благородного заговора щекотала нервы, мужество

Учителя завораживало. Впоследствии Шафаревич сам будет изгнан из Университета. Один из моих друзей, навещавших его, был загнан в психиатрическую больницу, где подвергся настоящим псевдомедицинским пыткам (сегодня он очень крупный математик, член Королевской академии Норвегии). Шафаревич, этот блистательный математик, скомпрометирует себя позже своим болезненным антисемитизмом, столь распространённым в южных провинциях, откуда он был родом. Определённо, редкий талант не гарантирует ни особого благородства, ни универсального ума.

После первого курса, во время летних каникул, я участвовал в экзотическом приключении: около полусотни студентов попросили отправить их в самую суровую северную область, чтобы помочь селянам и, главное, испытать свою стойкость в суровых диких краях. Где-то между Москвой и Белым морем умирала деревня. Там не было ни электричества, ни телефона. Нас попросили выстроить что-то вроде хлева. Первая проезжая дорога находилась в 50-ти километрах. Полчища комаров, слепней, клещей преследовали нас повсюду. Съестные припасы хранились в яме, вырытой прямо в земле. Однажды утром мы обнаружили, что она полностью разорена медведем. Появилась перспектива голода. Это был один из редких случаев, когда я мог гордиться собой: с двумя молодыми москвичами из хороших семей (моими будущими свидетелями на свадьбе) мы были единственными, кто не поддался унынию и поднимал дух паникёрам. Хороший урок благородства! Я был удивлён самим собой и поклялся себе - отныне и при любых обстоятельствах держать душу высокой, даже опуская глаза и руки.

Наука мне удавалась; в течение первых трёх лет обучения я имел отличные оценки по всем математическим предметам и даже получал Ленинскую стипендию, предназначенную для наилучших из студентов. С

философией марксизма, обязательным предметом, дела обстояли хуже. На семинарах каждый профессор вёл журнал выступлений студентов; я с гордостью обнаружил, что моё имя было единственным, напротив которого не стояло ни одного крестика – ни одного добровольного *выступления!* Стадный и унижительный аспект этой промывки мозгов отвращал меня даже больше, чем само содержание этой официальной философии (диамата). Когда двадцать лет спустя я открою для себя настоящего Маркса, я проникнусь большой симпатией и даже восхищением к его пронзительному лиризму и страстному тону. Кстати, только во Франции я встречу своего первого марксиста; в России рассуждения большевиков были ближе к делу Чингисхана, чем к духу Маркса.

Но по истечении этих трёх первых лет произошло типично русское явление – я потерял всякий аппетит к этой науке, основы которой и чьи существенные результаты я основательно освоил. Вырисовывалась угрожающая рутина профессионализма. Я признавал свой неизлечимый врождённый недостаток – неумеренный вкус к началам и безразличие к промежуточным, накопительным, повторяющимся шагам.

Почти по инерции я продержался на мехмате оставшиеся два курса. Моя диссертация о сферических функциях в компактных пространствах была лебединой песней, ныне полностью умолкшей или неслышной.

И тем не менее я всё же вращался в исключительной, интеллектуальной среде. Нигде больше я не испытывал столь отчётливого чувства, что нахожусь среди подлинной элиты, избранной по вкусу и отзывчивости, а не по успешным делам, не по власти и даже не по особенному знанию. Я часто хаживал в Московскую консерваторию, в два-три театра, в картинные галереи. В этих местах подавляющее большинство публики составляла молодёжь, студенты. Я постоянно встречал там своих

коллег из МГУ.

Нехватка книг переживалась ещё острее, чем нехватка колбас или носков. Очереди в несколько сотен метров выстраивались перед книжными магазинами в день выхода книг Хемингуэя, А. Дюма или Э.М. Ремарка (Гарри Поттер ещё не был изобретён). Я знаю, что этот энтузиазм рождался не из внутренней потребности, а был продиктован отсутствием выбора, внешней серостью и убожеством. Сегодняшняя Россия, извращённая супермаркетами, находится на том же уровне книжного бескультурья, что и США. Современные немецкие музыка и театр пережили ту же незадачу. Не при скудости и малоценности выбора узнаётся благородная голова, а, как это ни парадоксально, в условиях изобилия, когда, наконец, решается неподдельный вопрос о личных приоритетах. И верность, и жертвенность, эти два признака благородства, имеют ценность лишь при возможности фильтрации и добровольных самоограничений. Проще хранить стадность в условиях удушающих тягот, чем, среди мирной тепличности, создавать и лелеять позу своеобразного изящества и духа.

Несмотря на жалкую раболепность своих поступков, большинство студентов в своих мечтах сожалели об отсутствии свобод и об удушающем давлении тупиц, управлявших страной. Позже я узнаю, что в каждой группе (около двадцати студентов) был свой стукач. Воспользовавшись открытием архивов КГБ в 90-е годы, один приятель показал мне моё собственное дело с тремя доносами, написанными стукачом нашей группы, с подписью его именем! Его отец станет Премьер-министром в демократическом российском правительстве. Это напоминает мне о самом мрачном персонаже, которого я когда-либо встречал в СССР, — партсекретаре мехмата, Садовником. Когда речь зайдёт о моём отъезде во Францию (я вернусь к этому финальному эпизоду в моём Послесловии),

этот одиозный персонаж, упоённый своей безграничной властью и безнаказанностью, будет в течение целых двух лет изливать на меня всю свою злобность. Я до сих пор вижу наслаждение на этом лице тупого олуха. Я бы даже не упомянул этот эпизод, если бы это жестокое и невежественное чудовище не было сегодня, в XXI-м веке, ректором МГУ и приближённым Путина!

Но возвращаюсь к своей учёбе. Я вселился в высотке МГУ, деля комнату с одним немцем из ГДР, что помогло значительно углубить мой запущенный немецкий. По внутреннему переходу можно было попасть прямо на мехмат. 18-й этаж общежития выходил на 12-й этаж мехмата, где находилась моя дорогая кафедра алгебры.

В огромном здании МГУ на Воробьёвых горах было всё: рестораны, аптеки, почта, театр, кинотеатр, бассейны, книжные магазины, врачебные кабинеты, магазины, концертные залы. Мрамор, бронза, мозаики – всё было монументально, величественно. Как и на всех крупных стройках сталинской эпохи, рабочую силу составляли в основном обитатели ГУЛАГа. Но пока я оставался в стенах этого огромного здания, меня не беспокоило это досадное обстоятельство. Нужно было дожидаться, чтобы власть страны ополчилась на меня самого, чтобы стать солидарным с прочими жертвами. Эгоизм, трусость, безразличие? – не берусь судить.

Пришлось всё же готовить диссертацию. Мой научный руководитель дал мне название итальянского журнала (*I Rendiconti del Circolo matematico di Palermo!*), где находилась ключевая статья по теме моей будущей работы. Я сразу записался на курс итальянского (всё в том же здании МГУ). Через два месяца, прочитав мои первые книги Павезе и Моравиа, я иду за журналом – статья оказалась на французском! Языке, ни одного слова которого я не знал. И вот я принимаюсь за свой шестой язык! После

французского я займусь только двумя новыми языками – испанским и латынью. Испанскому меня научил венесуэльский революционер в обмен на мои уроки математики (он поступал на математический факультет Университета Дружбы народов. Потом он станет врагом Франции номер один – Карлосом, Рамиресом Санчесом. Мой друг Режиc Дебре тоже неплохо воспользовался уроками испанского от герильеро Че Гевары...). Латынь навязалась из семейной ревности: моя дочь в Школе Хартий ею владела, а я нет. В конце концов я стал было читать Августина и Горация на этом великолепном языке, столь свободном, выразительном и гибком, вроде русского, но далеко не ушёл.

С угасанием моего интереса к математике я вернулся к поэтическим упражнениям и начал посещать совсем новую Библиотеку иностранной литературы, находившуюся на набережной притока Москвы-реки, Яузы, напротив другой сталинской высотки. Там я познакомился с её молодой директоршей, которая позже любезно приютит меня, бродягу, бездомного, проводившего ночи на вокзалах и жившего переводами разношёрстных статей под чужим именем. Из моих долгих пребываний в этой Библиотеке я вынес прекрасное знание Парижа; я знал наизусть названия всех улиц, всех музеев, библиотек, площадей, церквей, театров, концертных залов, вокзалов, статуй, фонтанов и т.д. Эта внушительная дама, хранительница тех гостеприимных стен, только что вышла на пенсию – да будет она благословенна за приют.

Ленинка (Библиотека) тоже часто видела меня. Из её здания XVIII-го века видна была Кремлёвская башня, через которую выходил Наполеон, чтобы, взорвав её, направиться к Березине. Большевистские вожди в сопровождении иностранных гостей въезжали в Кремль через эту башню. Однажды я видел кортеж Брежнева; между мостом через Москву-реку и

подъёмным мостом Кремля некто выстрелил в Брежнева, не попав. *Голос Америки* объявит имя, профессию и возраст террориста – это был я! Только Университет был не тот; террорист был из Ленинграда. Он кончит в психиатрической больнице, а я, в одночасье, получу от некоторых диссидентов незаслуженные поздравления.

Но самое многообещающее событие произошло в монастыре XIV-го века, в самом центре Москвы, – в монастыре Рождественском. Оккупированный богемной интеллигенцией, он приютил в своих кельях нескольких чудаковатых художников, поэтов, музыкантов, живописцев - скваттеров. Там я наткнулся на красивого молодого человека с длинными волосами и певучим голосом. Е. Витковский знал дюжину языков и писал изощрённые, изобильные, выверенные стихи. Но его престиж среди молодёжи был вызван его редчайшим талантом поэтического переводчика. Наша дружба родилась из равной любви к великому Рильке, этому уникальному поэту с его безошибочной поэтико-философской интуицией, ставящей его поверх самого Валери.

Е. Витковского уже окружало десятка два учеников-переводчиков, почитавших своего маэстро, – и вполне заслуженно. Он предложил мне перевести несколько стихотворений Рильке и взять на себя германскую секцию его студии. Я осмелился перевести даже один из Реквиемов Рильке. Но мне пришлось тут же преклониться перед безоговорочным фактом: переводы Мастера были значительно свободнее, изобретательнее, гибче, естественнее. А поскольку у меня всегда была привычка делать только то, что никто другой не смог бы сделать лучше меня, я сразу отказался от своих жалких любительских потуг. С тех пор я к этому не возвращался.

Но эти вечера в монашеской келье навсегда остались в моей памяти. Е. Витковский называл свой кружок *Русские мальчики*, хотя там были и

девушки. Кстати, именно в Москве я открыл для себя, что такое самая потрясающая женственность. Это было для меня соприкосновение с красотой.

В Сибири я видел девушек среди прекрасных, но диких лесов. В Москве – женщин, прикасавшихся к стольким разновидностям прекрасного, из них самая украшающая шла от искусства, хотя изысканность одежды или речи тоже вносили свой вклад в женственность.

У женщин такая же жажда власти и тот же вкус к насилию, что и у мужчин. Но они реже превращаются в палачей и радуются этому гораздо меньше. Это одна из причин дискриминации, которой они подвергаются. С исчезновением всякого контакта с прекрасным женщина становится мужеподобной, как американки, или звериной, как сибирские горожанки.

В Рождественском монастыре филологическая работа была, конечно, главным, но я вижу прежде всего эти лица, такие юные, такие взволнованные, такие благородные, декламирующие стихи на английском, французском, немецком, нидерландском, итальянском, испанском. Познания Е. Витковского в истории европейских поэзий были невероятными, энциклопедическими, точными. Можно подумать, что в XVI-м веке он посещал шотландские пабы или плавал по фламандским каналам. Он знал всё! Сколько раз мы бродили ночью, вдвоём, по этим прекрасным, пустынным московским бульварам, перечисляя столько имён поэтов. Он мог цитировать сотни стихотворений на всех языках. Он овладеет португальским, кельтскими языками, африкаанс и многими другими.

В отличие от европейцев, *Русские мальчики* были безразличны ко всему, что выходило за пределы поэтического круга. Неуклюжие, неприспособленные, маргинальные. Но нигде больше я не испытывал

такого чувства братства. И слёз, разделённых вместе, слёз счастья, нежности, неудержимых переживаний. Именно с ними я понял, что величайшее несчастье, которое может поразить человека, — это больше не любить, не знать или уже не сметь любить.

Позже я наведу Е. Витковского на след Валери, который станет его любимым автором, самым тонким для понимания, прочувствования и перевода. Поскольку французская поэзия — самая изощрённая в Европе, простых лингвистических знаний недостаточно, чтобы по достоинству оценить прекраснейшие французские перья. Ни одна посредственность не может блистать во французской поэзии; что, напротив, частенько встречается у немцев и русских из-за доступности чисто звуковых, ритмических иллюзий. По-французски поэзия не в лексике, ритме, размере, она в смелости непредсказуемых столкновений между словами, образами и идеями, никогда ранее не встречавшимися.

В этом Рождественском монастыре я впервые коснулся струны дружбы — дружбы, относящейся скорее к чему-то священному, чем братскому. Я никогда не испытывал этого чувства ни до, ни после. Но Е. Витковский в конце концов разрушил этот прекрасный энтузиазм из-за расхождений в наших интерпретациях стихов Валери. Он держался до последнего, и никогда не признавал своих заблуждений. Философом он не был и не хотел им стать, а без философии нельзя понять глубину Валери. Я храню сотни его многогранных писем, полученных уже во Франции; я отвечал на них своими столь же витиеватыми посланиями. Между нами — знание против признания (благодарность и/или отклик на невыразимое).

Другой монастырь, Новодевичий, увидит через несколько лет мою ещё одну судьбоносную встречу. Два венца над двумя головами — моей и моей провансальской спутницы. Поп, слегка пьяненький, но радостный от того,

что, наконец, принимает какую-то сорвиголову, столь отважного, чтобы придти в церковь в те времена воинствующего и бдительного атеизма. Этот поп напоил нас тем самым (пресловутым!) поддельным кагором, как четверть века назад другой поп на опушке сибирской тайги. Два перепуганных свидетеля, которых мне пришлось подкупить, чтобы вознаградить их за возможные репрессии тайной полиции, сделали несколько снимков, которые мы так и не увидим. КГБ, возможно, искал там доказательства моих антигосударственных, антибольшевистских, антинародных преступлений.

Что такое мечта? – обещание, которое нужно лишь поддерживать, а не выполнять. Следовательно, нечто, находящееся по ту сторону существования, трогаящее уже одним своим несуществованием. Дружба будет принадлежать этому кругу, эфемерному и узкому, где меня будут ждать Добро, Благодетельство, Рождающаяся Музыка и Мёртвый Бог. Мне придётся довольствоваться тем, чтобы изобретать их заново всякий раз, когда представится благословенная пустота; я буду вносить в неё голоса, ритмы, мелодии, но не лица, увы.

Получив диплом, я попадаю в трагикомическую ловушку, которую невозможно представить нигде, кроме России. Только что выпущенных, нас осаждали вербовщики. Нужно было заполнять анкеты; одна из них была от Министерства обороны; в их опроснике был задан вопрос-ловушка, синтаксически извращённый: *не исключаете ли вы, что могли бы служить в Армии?* Почти все благоразумно ответили *Нет*, только четверо, включая меня, осмелились ответить *Да*. И именно эти четверо, плюс пятый (которым, очевидно, был наш стукач), будут призваны на военную службу! У меня никогда не было ни капли воинственности. Но благодаря вручённым мне золотым погонам штабного офицера я остался в Москве, в

исследовательском институте. В пятидесятые годы в этом НИИ находился самый мощный компьютер страны; там рассчитывались траектории всех первых спутников, а также межконтинентальных ракет. В наши дни там развлекались математическим моделированием международных конфликтов, скромно подражая RAND Corporation, одному из тех американских исследовательских институтов под эгидой DARPA. Это стало убежищем для полковников и генералов, в околопенсионном возрасте. Я встречал там командиров подводных лодок, проходивших под Северным полюсом на своих чудовищных наutilusах, способных уничтожить всю планету, ракетчиков, установивших десять лет назад свои устрашающие Америку пусковые площадки на Кубе.

Мы занимались хищением и плагиатом у наших заокеанских коллег. Я тоже приложил к этому руку, копаясь в пожелтевших номерах журналов Operations Research. Меня сделали специалистом по математическим моделям в теории игр, теории конфликтов, динамическом программировании. Помнится, надо было вычислить, к примеру, каких баллистических ракет, нацеленных на них, могли лишиться Шотландия или Италия, в пользу Испании, намеревавшейся вступить в НАТО.

Жалованье было очень щедрым, в три раза выше, чем у наших коллег на гражданке. В красивых особняках в самых фешенебельных районах столицы я встречался с генералами и шпионами ГРУ, военной разведки. Последние занимали великолепные ультрасовременные здания, как раз рядом с нашим Институтом, ходили обедать в ресторан расположенного поблизости ипподрома, куда и наведывались на бега. Интеллектуальное убожество этих суровых воинов было столь же вопиющим, как и у наших гражданских начальников, если не больше.

Как и следовало ожидать, в этом институте, трое жертв произвола,

помимо меня, стали или, скорее, продолжали быть политическими диссидентами. А пятый, стукач, продлил свой контракт с Армией, а мы покинули эту паразитическую и столь ограниченную среду. Рядом с институтом, был военный аэродром ГРУ и целая танковая дивизия. Я никогда не слышал столько шума вертолётных лопастей и танковых моторов, как в день вторжения в Чехословакию (эти танки и вертолёты находились в пяти километрах от Кремля).

Я устроился в лабораторию математической лингвистики МГУ, в великолепных кабинетах дворца XVIII-го века, прямо напротив Кремля, менее чем в двухстах метрах от его суровых кирпичных стен. Мои занятия машинным переводом углубили моё понимание чуда естественных языков. Я в конце концов понял, что существуют только две темы, достойные высокой философии, – утешительные иллюзии и капризы языка. И именно благодаря когнитивной лингвистике я окончательно потерял всякий интерес и даже всякое уважение к болтовне о бытии, свободе, истине, логике, которые продолжают превозноситься недалёкими мозгами, обделёнными логикой и воображением. К этим университетским профессорам, стонущим о страдании и спасении, уверяющим о любви к истине, лопочущим об абсолютном, бесконечном, бескрайнем, у меня возникла до сих пор не излечимая аллергия.

Вся моя профессиональная жизнь была бесконечной чередой разрывов, отказов, новых направлений и старых привязанностей к несуществующему, невидимому, неосуществимому. Столько профессий, брошенных на апогее, столько причуд, выживавших при сокрушительном падении. Поэтому у меня столько же мнимых триумфов, что и действительных поражений, с теми же местами и датами, но оцениваемых редко совместимыми судьями – душой или духом. Однажды я узнаю, что

они обитают в одном органе и являются лишь двумя его ипостасями. Они превращаются друг в друга, вверяясь то благородству и творчеству, то интеллекту и силе. Я сделал это капитальное открытие очень рано – наши слабости, наши тупики, наши тревоги вмещают наиболее явно наши лучшие одарённости, хранят больше тайн и обещают больше неожиданностей. Всякий подлинно философский ум должен был бы начать с этого нелёгкого смирения.

Вкус к письменности тоже происходит из этого удивительного наблюдения, что на нашем закате самым живым остаётся то, на что мы не решились, ненайденные слова, непонятые мгновения. Писать – это попытка спасти то, что было трагически потеряно или упущено.

Душа очень рано шептала мне слова утешения и ласки; дух позже ослепит меня чудом языка. Вне этих двух граней всякое извержение знаний, амбиций или мастерства показалось мне отныне суетным, педантичным, механическим времяпровождением.

Вот почему, пятнадцать лет спустя, мои копания в Аристотеле, Декарте, Спинозе, Канте, Гегеле вызывали во мне больше скуки, издёвки и отторжения, чем любопытства. Эти *крысы* разума и библиотек никогда не угадывают самого существования души вне разума. Сами слова *душа*, *желание*, *страсть* приобретают под их перьями такой сухой, такой невзрачный смысл, что я не вынес из них ничего, кроме безразличия. Но как логик (я хорошо запомнил теоремы Гёделя!), я был разочарован тем употреблением, которое эти учёные применяли к таким терминам, как *строгость*, *доказательность*, *истина*, *знание*. Лучший символ этих бесплодных серости и шарлатанства – *Наука логики* Гегеля, где я не обнаружил ни малейшего следа ни науки ни логики. Под наукой они понимают накопление знаний, а под логикой – средства извлечения

следствий из них. Если бы они хотя бы говорили, как древние, о Мудрости и Логосе! Поскольку мудрость можно свести к Ласке, а Логос – к Слову!

Со своими поэтико-философскими позициями я чувствую себя совсем одним. Как я ни ценю благородство Ницше, интеллект Валери, стиль Чорана, ни один из них не обладает достоинствами двух других! А я стремлюсь или ищу цельного человека. Я чувствую себя носителем системы, что, конечно, не гарантирует успеха её выражения. И Аристотель, и Декарт, и Кант, будучи людьми системы, провалили свои упражнения. Банальность средств ограничивала первого; отсутствие конечных целей делало плоским второго; прозаические начала разрушали амбиции третьего. И всем троим жестоко не хватает оружия стиля и души благородства. Но они искали фундаментальные связи между призывом Добра, сиянием Красоты и мощью Истины. Присутствие в уме этой великой триады – признак ума и величия. Но как трудно сохранить равновесие между глубиной ума и высотой души! Этот талант, возможно, самый редкий из всех.

Я попытался достичь этого равновесия в своём непомерном сборнике максим. Я не получил ни отклика, ни поддержки, ни понимания. Должен ли я повторять со всеми олухами, что нельзя быть правым против всех? Чтобы как-то укрепить это невыносимое положение, я обратился к цитатам из мёртвых. Они заменили мне идеального собеседника поэта - Бога. Я обращаюсь, таким образом, ни к человеку, ни к коллеге, ни к сообщнику, а к кладбищам, где покоятся память, культура и словесная ласка. В Начале была Ласка – название одной из моих книг, не представляющей никакого интереса для этого деловитого и хлопотливого человечества. Надеюсь, что таков будет и итог этого потустороннего очерка, в котором *олива*, пока ещё, *не приходит навстречу клюкве*, как это представлял себе Ж.де Местр.

Послесловие

Сибирское детство и отрочество окончательно сформировали мой характер и темперамент. Ни Москва, ни Европа не добавили ничего существенного к моему взгляду на жизнь, на страсти, на людей, на творчество, на знание. Но формирующим началом является не само содержание моих сибирских опытов, а их хронология - мечта души, нищета тела, свобода духа.

Если бы, как большинство моих товарищей по несчастью, потомков ссыльных, я прошёл эту эволюцию в обратном порядке, весьма вероятно, что в конце пути у меня не было бы ни чистоты, ни достаточной воли, чтобы вступить в лоно мечты. Я стал бы человеком дела, несущим свою жизнь с открытыми глазами, а не человеком мечты, облетающим жизнь с глазами закрытыми. Я был бы человеком леса и братства, а не человеком дерева и святого одиночества. Я слал бы миру свои *Нет*, полные злобы, презрения и обиды, вместо своих восторженных, крылатых и легковесных *Да*. Я познал бы чёткость границ между добром и злом, между делом и мечтой, между силой, которую нужно обуздывать, и слабостью, которую нужно ласкать, между тревожной жизнью и безмятежным искусством. Я, в конце концов, отошёл бы от одних начал и концов и стал бы культивировать целые оси, предпочитая эстетическую насыщенность этической полноте, причём оба конца получали бы одинаковое принятие и эстета и аскета.

Два года скитаний в Москве, ставшей враждебной. Выгнанный с работы, лишённый крыши над головой и поддержки или понимания бывших знакомых, в которых я бы так хотел открыть друзей. Один - на улице, на вокзалах, в библиотеках. Сколько глаз отворачивалось при моём приближении, боясь скомпрометировать себя. Я спал в залах ожидания вокзалов, в коридорах общежитий, в библиотечных залах, в подъездах, на раскладушках.

Всё это из-за прекрасной провансальки, встреченной во время её стажировки по русскому языку в МГУ и влюблённой в Россию. Её мечтой было поселиться в России. Я обегал десятки заведений, которые могли бы нанять мою капиталистическую европейку, – везде насторожённый, ледяной приём, подозрительность, ибо никакой партийной рекомендации у нас не было. Попытки снять квартиру заканчивались обнаружением микрофонов в люстрах и грубым выселением до истечения срока аренды.

Одиннадцать поездок Париж–Москва–Париж за два года, чтобы умаслить чиновников ЗАГСа. Чтобы придать себе надежды, во время последней из поездок она складывает в чемодан обои для нашей гипотетической избушки где-нибудь в глуши. Последний аргумент – беременность; женщина-врач делает всё, чтобы повредить эмбриону и заставить империалистическую совратительницу сделать аборт. К счастью, наш сын Жюльен здоров и процветает. Мать возвращается во Францию, проклиная наших мучителей.

Остаётся последнее решение – присоединиться к моей семье во Франции. Я начинаю мытарства по кабинетам партийных бюрократов, выпрашивая бумажку, обязательную для любого кандидата на поездку на Запад, – так называемую характеристику. Обычно это формальность,

поскольку этих славных кандидатов уже одобрила какая-нибудь государственная организация. Текст этой характеристики был практически одинаков для всех. В ней говорилось, что соискатель политически образован и идеологически зрел. Следовал список похвальных заслуг: хорошо играет в шахматы, пишет для стенгазеты, участвует в уборке мусора. Мой случай выходил из этой заранее заданной схемы. Секретарь парткома математического факультета, моего последнего места работы, тяжёлый и тупой стукач Садовничий мог позволить себе любые формы пыток и издевательств по отношению к лицу, что выбилось из общей колеи.

Он широко пользовался этим, этот зловещий Садовничий, ныне ректор МГУ. От собеседования к собеседованию его угрозы становились всё более жестокими и враждебными. Этому способствовало моё скудное политическое рвение, вернее, полное отсутствие оно, проявлявшееся в моих недвухсмысленных гримасах.

Оставалось несколько недель до рождения Жюльена. Три или четыре чудесных события произошли одно за другим: старый ректор МГУ умирает, его сменяет молодой физик. Жискара д'Эстен должен приехать в Москву со списком разделённых семей. Моей спутнице удаётся мобилизовать президента франко-советской группы в Сенате Ж.-Л. Вижье, который принимает своего русского коллегу и во время роскошных приёмов вырывает у него обещание вмешаться в нашу пользу. Я бросаюсь в кабинет нового ректора, кричу, что сыт по горло сеансами пыток товарища Садовничего, и что я брошусь под колёса лимузина Жискара, если мне не выдадут их грязную характеристику. К моему изумлению, ректор звонит в визовую службу и обещает им выдачу бумаженции до конца недели. Я не верю своим ушам. Я не верю в магическую силу своих

жалких аргументов. Либо ректор знает о решении, пришедшем сверху, либо он из мира, радикально отличного от мира Садовниченко, поскольку он беспартийный интеллектуал. И случайно ли то, что его найдут мёртвым через три-четыре месяца? Несчастный случай, говорят.

Кроме того, Хельсинкские соглашения, подписанные всеми европейскими странами несколькими месяцами ранее, упоминали воссоединение разделённых семей. Я проник в посольство Франции, чтобы прощупать их позицию. Я узнал о существовании короткого списка из восьми имён, включая моё, касающегося самых крайних случаев, и что Жискар д'Эстен представит его Брежневу. Однажды, когда моя виза уже была готова, консул Франции, господин Леспес, сказал мне твёрдым и серьёзным тоном: *если вы не уедете в ближайшие сорок восемь часов, вы не уедете никогда, мы знаем это из достоверных источников*. Я бросился увязывать свой единственный багаж – коробки, наполненные книгами. Две трети этих книг будут изъяты на таможне в Бресте (Брест-Литовске).

В коротком списке я увижу имя Б. Спасского, бывшего чемпиона мира по шахматам. Я узнаю позже, что он женился почти в тот же день, что и я, в том же московском ЗАГСе. Мы прибыли в Париж почти в один день. Впоследствии его жизнь пошла наперекосяк; в состоянии паранойи он покинул своё французское жильё, чтобы вернуться в Россию, безумный, беспамятный и враждебный ко всей Европе.

Визовая служба получила мою характеристику. Я не должен был её знать. Ректор принял меня во второй раз и прочитал мне несколько выдержек из этого документа: *Личность ненадёжная, способная на предательство, к счастью безвредная из-за отсутствия средств вредить, представляет интерес для французской стороны по неизвестным*

причинам, избавиться от неё не представляет никакой потери.

Я впервые ступил на французскую землю в Мобёже, у бельгийской границы. Случай, видимо, достаточно редкий, чтобы его отметить. На Северном вокзале меня ждал дядя Жан; я провёл несколько восхитительных, но ещё призрачных часов в его парижской квартире. Я мог говорить только о французских носовых гласных, о замке Пьерфон, восстановленном Виолле-ле-Дюком, о домах, где жили в Париже три мушкетёра. Ничего естественного, живого, актуального, простого.

Поезд ждал меня на Лионском вокзале. Последний прямой отрезок завершал мои скитания. Мой пятый и последний побег завершился сбиением сердца более безрассудным, чем когда-либо. Отвлечённая Франция, которую я уже любил, должна была встретиться с Францией из плоти и крови. Ласковой или отвергающей? Было невозможно предвидеть. Только одно было несомненно: я верен своим первым трепетам, посеянными Мамой в сказках, чью волшебную атмосферу я сумел сохранить среди отчаяния и страха. Почему бы не сохранить её посреди счастья, столь доступного и столь невероятного. *Натура* моего детства передавала эстафету *Культуре*, которая отныне будет моей. И разве я не предчувствовал эту встречу в моей сибирской избушке, над книгами, которые читала Мама со слезами на глазах и рукой на моей всклокоченной голове.

Россия XXI-го века мне чужда. Восемь столетий эта страна мечется между призывом Культуры души – призывом всё более слабым, призывом своих европейских истоков – и жестокостью животной Натуры, запечатлённой на её теле монгольским кочевником. Но если очень краткие культурные периоды были лишь искрами, быстро погашенными

окружающей тьмой, то естественные периоды, характеризующиеся властью тьмы, длятся до очередной катастрофы, которая на мгновение открывает глаза заблудших людей, чтобы тут же снова погрузить страну в следующую долгую ночь. Таковы были попытки Петра Великого, Екатерины II, Александра I, Александра II, Горбачёва.

Первая потребность русского – это хорошо известное: моя прихоть превыше всего (пресловутое своеволие, так хорошо проанализированное Достоевским). Безднаказанно осуществлять свой произвол в государстве, регионе, городе, предприятии, банде, семье. Свобода как отсутствие закона; культ незаменимых деспотов на всех уровнях и, как следствие, уважение к вору, обманщику, хулигану, бандиту. Нынешний режим представляет собой уникальное слияние бандитизмов: криминального, экономического и политического, с одним и тем же уровнем познаний. Этот натуральный монголизм сопровождается монголизмом культурным. Пушкин, Чайковский, Толстой почти полностью исчезли из кругозора подавляющего большинства россиян. Исторические познания не простираются дальше последних пятнадцати лет, к тому же обезображенных глупой, ненавистнической, односторонней пропагандой.

Интеллигенция, всё более немногочисленная, отстранена от общественных дебатов и возвращается на свои кухни, чтобы предаваться сетованиям, над которыми насмехается эта серая, плебейская, многомиллионная мразь, довольная тем, что страной управляют подонки той же природы, что и она сама. Вид правящего класса более утончённого, чем его собственные банды хулиганов, раздражает и беспокоит его. Отсюда безусловная поддержка, которой пользуется правящая мафия.

Парадоксально, но американизация экономических нравов во многом

способствует нынешней русской жестокости. В США эта грубость смягчается независимым правосудием и точным законом. В России правосудие служит мафиозным кланам, а закон извращается в пользу сильных.

Слова свобода и демократия стали там ругательными. Слово суверенность приобрело неожиданный смысл - самодурство, не зависимое от внешних глаз, - и получило хвалебный оттенок. Невежественные, жестокие, грубые личности наводнили общественную сцену. Горстка интеллектуалов, переживших чистки, отстранена от неё и подталкивается к изгнанию. Никаких беспристрастных дебатов, никаких ссылок на научные знания, компетенцию, интеллект. Неисправимый сверххулиган правит безраздельно.

Что можно пожелать этой несчастной стране? – до сих пор только цареубийство графами Орловыми или Паленом могло изменить варварские течения. Но сегодня, при отсутствии какой-либо элиты, аристократической или интеллектуальной, любой переворот неизбежно приведёт к бессмысленной и кровавой гражданской войне. Внутреннее общественное спокойствие могло бы пробудить либеральные устремления, поэтому оно является самой большой опасностью для плутократов. Чтобы его предотвратить, они пускаются во внешние авантюры.

Европа чувствует этот российский крен, но интерпретирует его неверно и, главное, видит его ложные истоки, сводя их к воле к господству или экспансии. А надо бы позаботиться о правах человека и личных свободах в этой заблудшей стране. Откровенная русофобия царит в умах европейских лидеров. Невежество в истории, незаинтересованность в либерализации в стране, заранее обречённой на рабство, потребность в

сильном и крайне антипатичном враге – таковы главные пружины европейской политики в отношении России. Это гораздо легче принять перед лицом общественного мнения, чем заниматься охотой на бородатых фанатичных исламистов. Эти последние воспользуются этим безответственным политическим отклонением, чтобы сеять всё больше террора и хаоса в Европе, лишённой идеалов культуры, ценностей цивилизации и политической стратегии. Можно умаслить восточного хулигана, уязвлённого в своём самолюбии, но жаждущего признания и материальных благ, но никогда не удастся успокоить южного аскетического фанатика, готового отдать жизнь, чтобы нанести удар ненавидимому *неверному*.

Увы, я не увижу ни демократической и умиротворённой России, ни Франции, управляемой Шатобрианами и Ламартинами, или даже де Голлями и Миттеранами. Я вижу во Франции очень живые и пространные острова былых культуры, благородства и интеллекта, и этого достаточно, чтобы поддерживать мой оптимизм. Россия внушает мне лишь мрачный пессимизм, ибо я не предвижу в ней ни мягкости души ни открытости ума.

Наконец, я должен упомянуть двух персонажей, двух героев французской истории, приговорённых к смертной казни – первый нацистами, второй латиноамериканской хунтой, – и оба чудесным образом спасённых. Благодаря первому, президенту группы франко-советской дружбы в Сенате, я ступил на землю Франции, страны, которую уже любил. Благодаря второму, революционеру, первому перу Франции, я смог пережить реальность французского духа, о которой раньше мог только мечтать. Их имена – Ж.-Л. Вижье и Р. Дебре.

Картинки



Новгородский Софийский собор, XI-й век.

Отсюда, из этих краёв, в конце 1860-х годов отправился в путь мой прадед Никифор. Первая столица Руси, первый город, где впервые прозвучало слово *свобода*, единственный крупный город, избежавший разрушительной ярости монголов. Отсюда Александр Невский выступил навстречу тевтонским рыцарям.



Труппа любительского театра в моём посёлке. Снимок 1917-го года, перед самой Революцией. Платону исполнилось 40 лет. Только что родилась Мама. Это не те лица, что я встречал в советской России. Два несовместимых мира. Тот мир умер. Этот, за тридцать лет, переменил лицо (лица). В конечном счёте, я буду любить лишь страну-призрак, исчезнувшую культуру, утраченную чувствительность, людей с разорённым наследием.



Мой родной посёлок – Кольчугино (Кольчуга). Центр города, где жили высокопоставленные шишки, но коммунальные бараки, в которых мы, убогие, прозябали, находились совсем рядом.



Моя родная избушка, вид с Театрального переулка. Справа – два окна Прокопия; слева – окна Платона, здесь я родился. Ряд голубых досочек под крышей поставлен мной самим в шесть лет. Общая печь ещё хранила следы пуль красных и белых, времён Гражданской войны 1917–1922-го. Тополей, окружавших дом, больше нет. Бузины и малинника тоже не видно.



Вид Театрального переулка напротив нашей избушки. На снег смотреть приятнее, чем на летнюю грязь. Судя по туману и бессилию солнца, температура около -40° . Здесь я вставал на лыжи или коньки, чтобы спуститься к Ине и скользить, километрами, по её замёрзшей глади. Вокруг стояли только такие же лачуги, где ютилось самое дно беспросветного пролетариата.



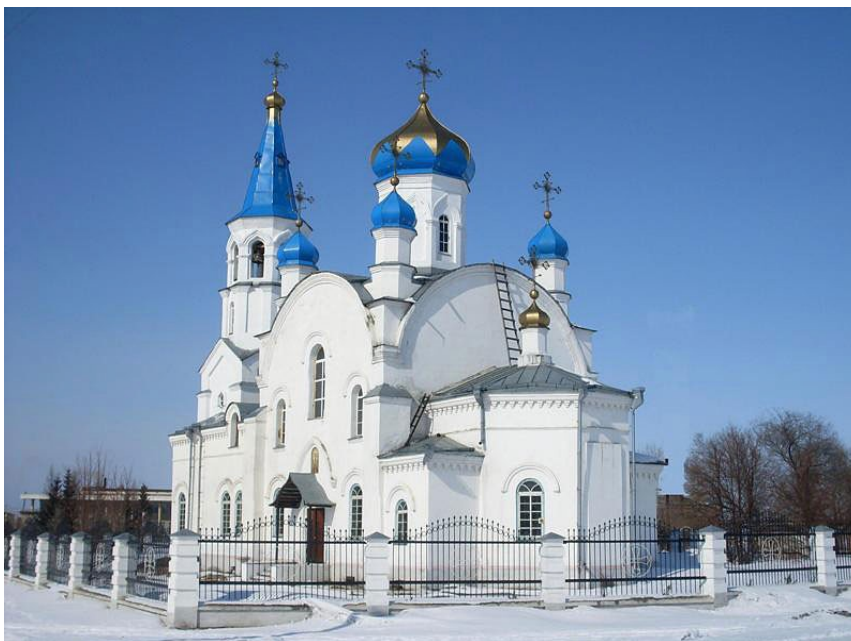
Пришлось покинуть мою избушку в Театральном переулке. Трое Маминых дикарей, 6-и, 10-и и 14-и лет, уходят подальше от помидоров, огурцов, гороха и малины моих дедушек с бабушками, чтобы поселиться в коммунальном бараке возле моей первой школы. Я готов к этому хоть сейчас.



**Мой добрый Платон и бабушка Евдокия. Я
прощаюсь с моей избушкой.**



Та, кто дала мне самые полезные и незаменимые уроки, – Мама, на берегу Томи. Её жизнь была бесконечной трагедией. Вдова, работница на грязном металлургическом заводе, нищета, голод, смерти, самоубийства, неблагодарность детей, о которых она заботилась с бескорыстной и жертвенной любовью.



Церковь, где меня крестили, но тогда она была куда менее нарядной. Попы прошли следующую эволюцию: из смиренных утешителей, гонимых атеистическим режимом, они превратились в надменных и ожиревших прислужников коррумпированного мафиозного режима. Тем не менее, рядом с ужасным архитектурным китчем олигархов, церкви сегодня представляют собой редкие напоминания об исчезнувшей цивилизации.



Именно в этой аптеке Мама начала работать в конце тридцатых годов. Асфальт здесь появится четверть века спустя. Спиртная лавка, чьими прелестями я тайком снабжал дедушку Платона, находилась напротив. В те времена фармацевты учили латынь; все этикетки были на латыни. Когда через пять лет она будет ковать лопаты, латынь ей уже не пригодится.



В этом бараке я прожил десять лет. Наше жёлтое окно — на втором этаже, в центре слева. Большинство ссыльных жили в таких деревянных клоповниках. Здесь я открыл для себя электричество и водопровод! Но это были единственные современные удобства. По этим жутким надземным трубам сегодня идёт газ. Канализация и туалеты обещаны к 2050-му году.



Бараки пятидесятих годов, в том числе и наш, в начале проспекта Кирова. Вид асфальта и автобусов поразил меня в 1952 году. Сугробы могли достигать нескольких метров. Мы строили ледяные дворцы, поливая снег изнутри пещер и прорывая проходы. Особенно это удавалось на Театральном переулке, где наш огород давал архитекторам более удобную площадку, чем общественный скверик у этих бараков.



Барак в Кузнецке, где жил Достоевский после выхода с каторги. Весь этот край был одним гигантским острогом, где я родился спустя столетие после Достоевского. Он там венчался.



Достоевский венчался в этой сибирской церкви за сто лет до моего рождения.



Иня. На берегах этой реки, летом тихой, зимой уснувшей и весной неистойвой, созревал мой первый побег. Подлесок напротив полностью затоплялся весенними паводками. Чуть дальше начиналась тайга. Для меня это была ещё не обитель медведя или ссыльного, а кладовая грибов, смородины и малины. И мёда, который я делил с медведем.



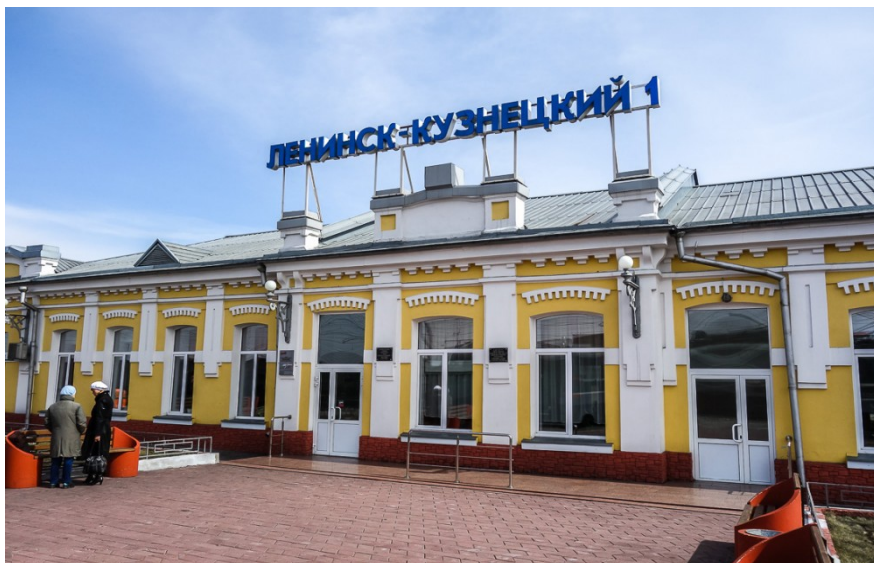
Вот как выглядела в 1954 году цель моего второго побега – **областной центр Кемерово**. По сравнению с Ленинском - чуть меньше угля на снегу и гораздо больше химических ядов в воздухе. Тайга там почти полностью исчезла; слишком близко прошёл цивилизующий Транссиб.



Моя первая школа. Она была деревянной. Чтобы добраться до неё, нужно было пересечь лишь тихий сквер с дикими яблонями. Возможно, это была одна из причин моих школьных успехов: дома негде было делать уроки, я делал их, растянувшись на полянах скверика, который на самом деле был просто старым полулеском. Эта была восьмилетка; после одного года в гимназии я уехал на Кавказ.



Мне десять лет. Я крайний слева в среднем ряду. Начинаю готовить второй побег. Я уже был самым угрюмым, уклончивым и манерным. Неловкость перед коллективом, стыд от того, что мои лохмотья несут на себе клеймо нищеты. Тем не менее, в следующие десять лет у меня будут наилучшие оценки. Маленькое утешение рядом с большим – моим первым серьёзным чтением.



Вокзал Кольчугино. Отсюда я отправился в третий и четвёртый побег. На входе можно было увидеть огромный самовар с привешенной к нему алюминиевой кружкой. Продрогшие пассажиры могли попить там дымящегося чая. Отсюда – восемь часов до трёхсот километров, сто часов – до четырёх тысяч.



Новосибирск, Оперный театр. Снимок пятидесятих годов. Цель моего третьего побега. Здесь я слушал *Летучего голландца*, мою первую оперу. На главной улице я впервые увидел дореволюционные каменные здания. Это было как открытие Пон-дю-Гара для провансальца, никогда не покидавшего своих трущоб.



Город Краснодар, бывший Екатеринодар, куда меня занёс мой четвёртый побег. Юг, мягкость, мирная и цветущая провинция. Следы частной собственности, содержащейся куда лучше, чем наши коммунальные бараки. Кое-где слышны отголоски глухого бунта, идущего из глубины веков. Но я был современником ссыльных XX-го века, а не XVIII-го.



Я, 1961-й год, Краснодар, среди казаков. Я в верхнем ряду, в центре. Сельское, мирное, оседлое происхождение этих увальней, после моих сибирских проходимцев – буйных, с кочевым и мрачным нравом, – бросалось в глаза. Именно с этого эпизода моей биографии я окончательно склонюсь на сторону тревоги души, а не её покоя.



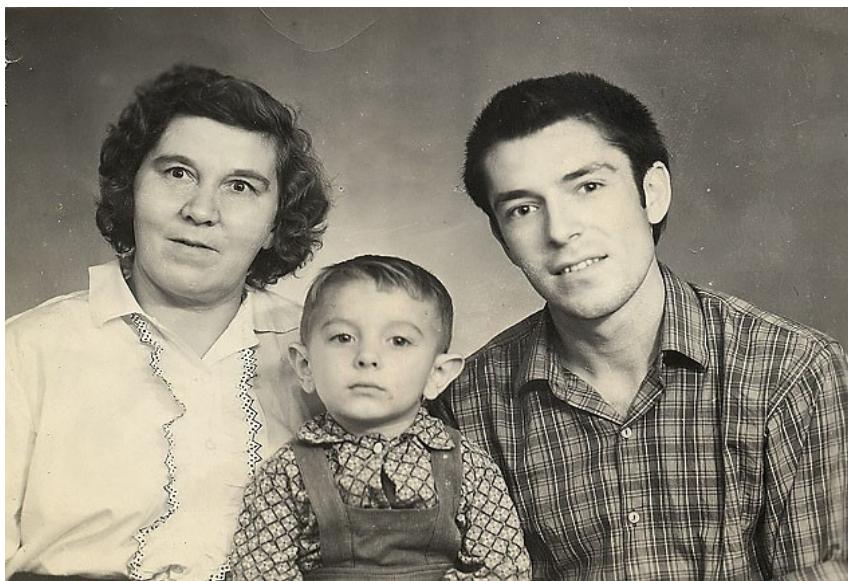
Возвращаясь из четвёртого побега, я остановился в Сталинграде. Статуя Родины-матери. Я вернулся туда в 2012 году. Вокруг – бескрайние степи. И пустыня по ту сторону Волги. Тамерлан остановился здесь, избавив Русь от второго разорения после монголов. Я посетил родину казацкого завоевателя Сибири Ермака.



Начинаются соревнования, математические олимпиады. В 16 лет, перед победой на олимпиадах посёлка Кольчугино, области, Сибири... Всё более мрачный вид и непокорный вихор. Мой приятель станет лётчиком вертолёта, будет отслеживать моджахедов в Афганистане и в конце концов будет сбит Стингерами Бен Ладена и погибнет.



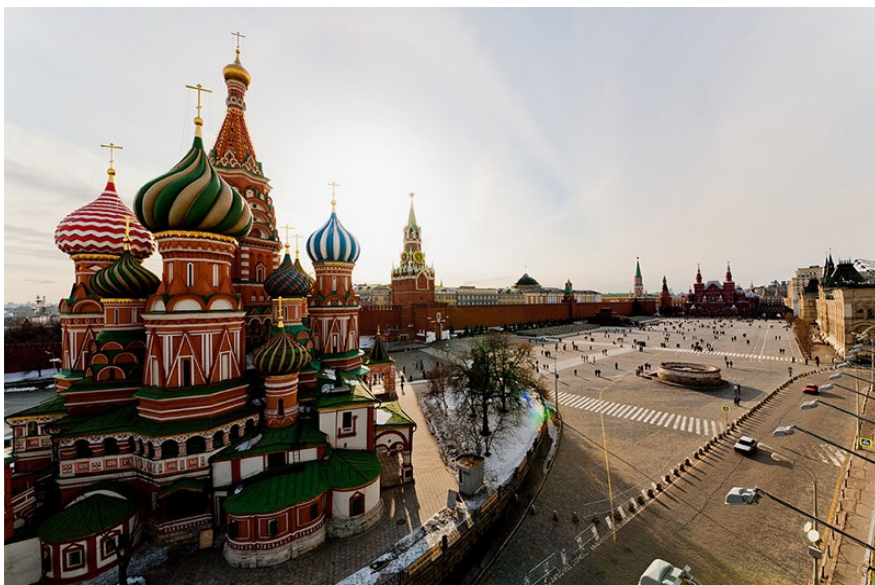
Перед моей гимназией, 2015-й год. На земле – один из редких лексических знаков XXI-го века: *Ты будешь креативным!* Это слово, *креативный*, прошло в России странный путь – оно означает: быть предприимчивым, уметь хватать возможности, пускаться в тёмные, но дерзкие предприятия, заслуживать хорошие доходы на службе у олигархов. *Если ты говоришь, что умён, почему ты так беден?* – эту рекламу банка, набиравшего *креативных*, я читал в Сталинграде.



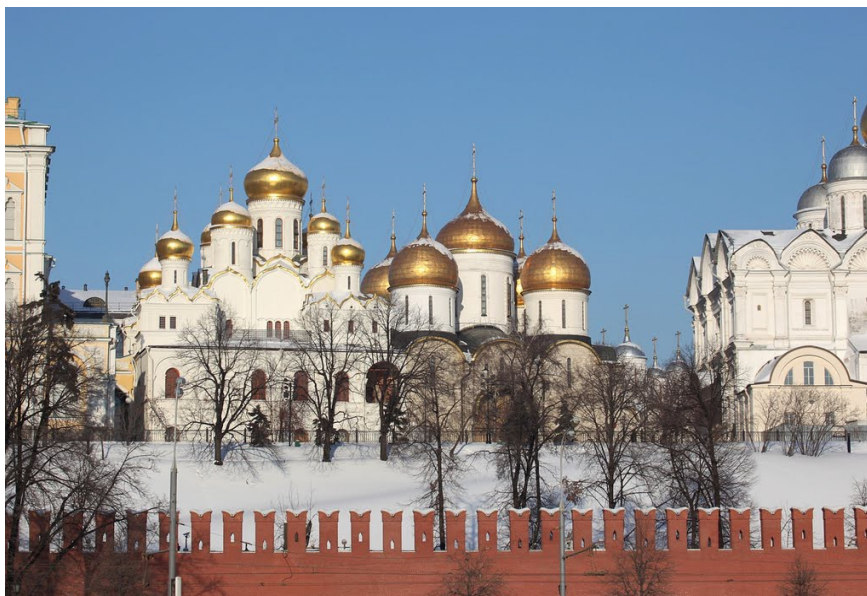
Перед самым набегом на Москву, 1963-й год. С Мамой и моим племянником Александром, сыном Валерия. Отныне я тридцать раз пересеку границу Европы и Азии по Транссибу. Ни Мишель Строгов, ни Б. Сендрар, ни Ж. Кессель не знали его лучше меня. Терзаемый голодом, я запомню не леса, озёра, горы, реки, а чай в самом поезде, Мамины крутые яйца, огурцы, купленные на бесчисленных остановках четырёхдневного пути.



Окончена гимназия. Обратите внимание на носки... Я внизу, в центре. Юношей, продолжавших обучение в старших классах, было мало. Улица, лес, шахта влекли их сорвиголов куда сильнее и неуголимее. Слабые, женоподобные или умные чувствовали себя неполноценными среди красивых девушек, более уверенных в себе. Все учительницы – ссыльные или дети ссыльных: две немки, одна славянка-москвичка, одна еврейка, две петербурженки.



Красная площадь с Василием Блаженным, творением Ивана Грозного, XVI-й век. Спасская башня – XV-го века.



Четыре века спустя после Великого Новгорода – вот и четвёртая мать городов русских, **Москва Златоглавая**, Кремль. Как и для Никифора веком раньше, эти места станут перевалочным пунктом к конечным целям. Между Новгородом и Сибирью, между Сибирью и Провансом. До Москвы я знал только пространство; здесь я открою для себя время.



Кремлёвская стена. Именно через правую башню Наполеон входил в сожжённую столицу и покидал её.



Двенадцать лет, проведённых в этом здании и вокруг него. **Университет имени Ломоносова.** Видно окно моей студенческой комнаты и, в центре главного корпуса, окна моей кафедры алгебры. Слева и справа – презираемые математиками факультеты химии и физики. Кремль скрыт центральной башней, но видна Москва-река. На месте высоток слева Наполеон ждал делегацию бояр с ключами от города, которая так и не явилась.



Транссиб. Будучи студентом в Москве, я проезжал по нему десятки раз. Первый раз – в четвёртый побег. Последний – чтобы увидеть Алтай, в 2015 году.



В этом здании XVIII-го века, старом МГУ, напротив Кремля, находился **мой последний московский кабинет**. Я занимаюсь смутными исследованиями по машинному переводу естественных языков, по человеческой памяти. По инерции эпизодически преподаю математику. Благодаря Карлосу я совершенствую испанский. Он учит меня, что, по мнению Кастро, США управляются роботами, а Россия – карликами.



Библиотека иностранной литературы. Итальянский, французский, испанский – в таком порядке я изучал здесь эти языки, одновременно освежая немецкий и английский. Трамвайная линия связывала это место с МГУ на Воробьёвых горах. Но я, вероятно, не упомянул бы об этом, если бы эти гостеприимные стены не приютили меня так часто, когда я оказался выброшенным на улицу.



Ленинка с памятником Достоевскому. После МГУ это было место, которое я посещал чаще всего.



Филиал Ленинки. Окна главного читального зала выходили на Кремль.



Карлос, Ильич Рамирес Санчес. На последнем, пятом курсе я давал ему уроки математики, а он в ответ учил меня испанскому. Для отработки лексики он настаивал на книгах Хосе Марти, но я выторговал, чтобы мы сначала прочитали Рыцаря печального образа. Вскоре я уже водил кубинских школьников по Красной площади. В Москве он был скорее Дон Жуаном, чем Дон Кихотом. Позже автомат пошёл ему на пользу куда больше, чем математика.



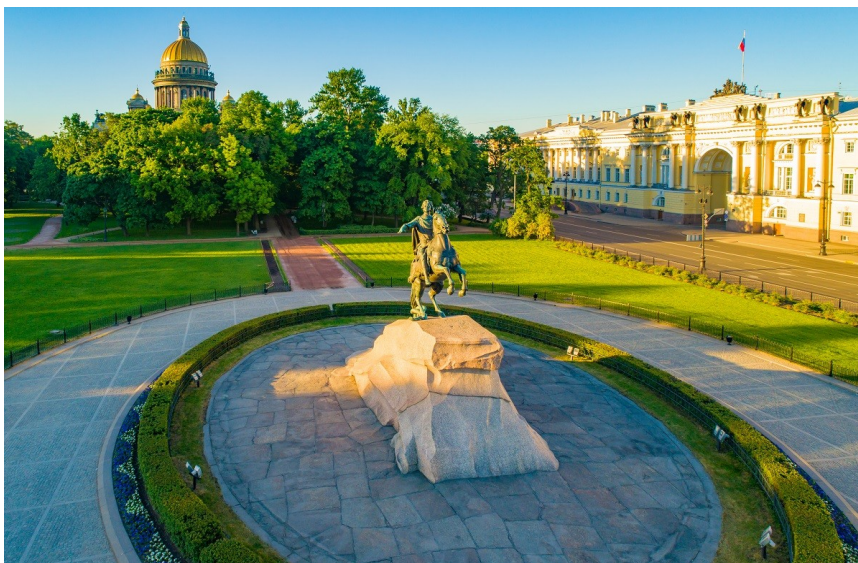
В Рождественском монастыре XIV-го века в Москве. Единственной религией, которую здесь исповедовали полвека назад, была поэзия, оживлявшая рифмы, ноты и удары кисти молодых художников, сквоттеров келий, откуда монахов выгнали ещё полвека назад. Это были мрачные и живописные руины; *Русские мальчики* собирались здесь раз в неделю.



Московская консерватория. Некогда место встречи интеллигенции. Сегодня музыкальная чувствительность, талант, вкус сохранились в Москве, несмотря на вторжение потребительства.



Славянские композиторы (русские, чешские, польские), картина И. Репина.



Санкт-Петербург, бывший Ленинград. Я часто ездил на *Красной стреле* (советском скоростном поезде), чтобы понять, как выглядит Европа.



Мой самый ненавистный русский персонаж, **Садовничий**, мой мучитель. Бывший секретарь парткома мехмата. Ныне ректор МГУ. Садист. Ничтожество как математик, он был стукачом факультета. Доктора наук должны были дрожать в его кабинете, чтобы получить разрешение поехать в Болгарию или Румынию на конференцию. Мой научный руководитель вырвал у него даже согласие на семинар в Италии. Он привёз мне оттуда книги Леопарди, Павезе и Моравиа. После падения СССР идеалистическая чистота длилась лишь несколько месяцев, бандитская гниль быстро вернулась - и навсегда.



В конце моей университетской учёбы **Мама приехала в Москву**. Я всё ещё не очень улыбчив. Я живу только поэзией, математике остаётся одно безразличие. Никогда больше я не буду жить в таком соседстве между растущим внутренним одиночеством и кратким братством с поэтами, ещё более потерянными, чем я. Сдержанное презрение к режиму переходит в откровенное животное отвращение.



Мама, в 90-е годы.



Она открыла мне мир, где слова, идеи, образы приняли форму ласки. Розина, без которой я бы никогда не осуществил того, что было обречено оставаться непередаваемой и невыразимой мечтой.



Мама и Розина под Москвой, 1975-й год, после нашей свадьбы. Веранда на даче, диван, покрытый медвежьей шкурой, – это было наше первое убежище. Прекрасная река Истра, великолепные леса. Годом ранее, среди зимы, мы пересекали на лыжах эти леса и заблудились. Наступила ночь, неожиданная удача спасла нас: мы наткнулись на железную дорогу. Я проделаю этот маршрут ещё несколько раз – такой символический, такой памятный, такой русский..



Новодевичий монастырь XVI-го века. Мой последний кукиш моей мачехе-родине. Партсекретари косо смотрели на мою свадьбу, но она привела в восторг попа этого монастыря; он так скучал, служа лишь по смертям старух; венчание молодых вносило что-то редкое и воодушевляющее в жизнь этого отверженного материалистической науки.



Несколько друзей, математиков или поэтов, накануне моего отъезда во Францию. Было много слёз, внезапных и безрассудных. Советское шампанское было непричём. Кирилл, великий математик, чемпион международных олимпиад, рядом со мной, приедет ко мне в Прованс, как и два других поэта. Но что мы могли сказать друг другу, когда математика во мне умерла, а поэзия умерла в России?



Белорусский вокзал. Поезд Москва – Берлин – Париж. Я сел на него в конце 1975-го года, за три недели до рождения Жюльена. Я увижу сталинскую высотку в Варшаве – подарок Сталина; вокзал Фридрихштрассе в Берлине с лицами – сияющими на Западе и напряжёнными на Востоке; остановку в Брауншвейге среди ночи, где я прочитал *US Army* на двери в трёх метрах от окна поезда; чёрный Кёльнский собор, бросающий тень на вокзал.



Мой первый физический контакт с Францией,
2-го декабря 1975 года, вокзал Мобёж.
Никудышный в пении и танцах, я был готов
пуститься в эти упражнения на пустынном и
ледяном перроне. Мне не грозили насмешки
попутчиков; в моём вагоне оставался лишь один
африканский студент. Он был первым (и
предпоследним), кто сошёл на Северном вокзале;
при его виде мой дядя Жан подумал: *почему меня
не предупредили, что Розина вышла замуж за
негра?!*



Прованс — место моего последнего побега. Мои дети танцевали в фольклорной группе...



Мои дети в Сибири. Жюльен и Анастасия на опушке тайги после сбора грибов. Старший из сыновей Никифора, Прокопий, родился в этом лесу в 1870 году. Восемь лет спустя родился мой дед Платон. Для них тайга – это медведь, золото и комар; для меня – малина, смородина, дикий мёд, цветы.



Жюльен на берегу Томи, где укрывался Никифор. Настоящая, непроходимая тайга начинается на другом, восточном берегу. Река и её притоки несли золото. Разбойники с большой дороги (на самом деле и малой-то не было) переквалифицировались здесь в золотоискателей. Я ещё видел мужиков, выходявших из тайги с кое-какими самородками.

Таблица

Предисловие	I
<i>Страна моего детства</i>	7
<i>Сибирь, моими глазами</i>	23
<i>Москва, как много...</i>	57
Послесловие	75
Картинки	83
Обложка	

Моё перо всегда хотело предаваться взгляду творящему; оно избегало чисто созерцательных картин. И вот я широко раскрываю глаза, да ещё и опираясь на шаги и мускулы, одним словом – на безликий рассудок, опираясь стыдливо и смущённо. Как же душа, доселе чуть ни единственный автор моих словоизлияний, как она отзовётся на своё превращение в дух, урезая крылья и вживаясь, опираясь на столь отчётливые следы? Мой дух – домосед на горизонтах, а моя душа – кочевница в небосводах. Итак, слагаю крылья и оставляю свою звезду, чтобы ступить ногами на свою землю, оглядеть свои стены и проверить свои двери.

Исповедальный жанр навевает на меня скуку. Если бы я писал, следуя детальности Бл.Августина, Руссо или Толстого, я бы покраснелся. И не из-за мерзостей, которые надо выносить наружу, а из-за невыносимого совпадения между выраженным и реальным. Всё реальное – заурядно, плоско и унинительно. Поэтому я приправлю свои повествования некоторыми отступлениями. Это тоже будут побеги – та первооснова, которой следуют мои ноги, мысли, душевные состояния.

